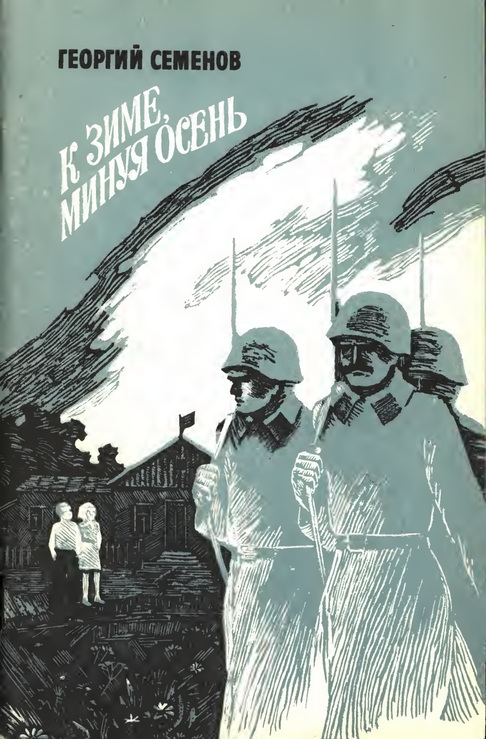

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ
К ЗИМЕ, МИНУЯ ОСЕНЬ

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

К ЗИМЕ, МИНУЯ ОСЕНЬ

Повесть

Москва
«Современник»
1986

Р2
С30

Текст печатается по изданию:
Семенов Г. К зиме, минуя осень: Повести и рассказы.—
М.: Мол. гвардия, 1972

Семенов Г. В.

С30 К зиме, минуя осень: Повесть.— М.: Современник, 1986.— 96 с.

Тревожные ноябрьские дни. Эвакуированным московским ребятам предстоит путь к далекому Уралу... Повесть Георгия Семенова посвящена проблеме становления характеров подростков, пока еще не умеющих до конца осмыслить свои поступки и разобраться в таких понятиях, как любовь и доброта, жестокость и трусость, бесстрашие и благородство. На долю героев повести выпало суровое военное лихолетье, лишив детей детства, заставив их повзрослеть в чудовищно малый срок.

С 4702010200—243 / М106(03)—86 КБ—11—042—86

ББК84Р7
Р2

Глава 1

Была там густая, цветистая трава, все перепуталось там — белые, красные, лиловые и розовые клевера, и ромашки, повилика, и лиловые колокольчики, и голубые, как небо, дикие астры, и миожество всяких желтых и оранжевых цветиков — все это как будто кружилось перед глазами, и оии шли по этим цветам, а цветы мешали идти, потому что приходилось преодолевать их цепкое и упругое сопротивлеиие. Палило солице, горели щеки, обожжеииые душистым жаром спелых трав, и всюду жужжали, прыгали и ползали мухи, шмели, пчелы, мириады кузиечиков — вся округа была заполиеиа этим знойиым цветным гудением и звоном.

Оии продирались сквозь цветущие травы к березам, которые чередой стояли среди поля.

Ему было одиииадцать лет, а ей иа полгода меиьше. И оба впервые в жизии были влюблеиы. Оиа любила его, а ему казалось, что самая красивая, самая нежиая, самая вериая и самая грустиая иа свете — это оиа... Ему иравились задумчивые и грустиые девочки. А эта была самая задумчивая. И ему впервые приходилось вот так, как теперь, заблудившись, идти рядом с ией и зиать, что оии заблудились, зиать, что им еще долго идти и, может, вообще ие иайти иикогда дороги.

Ои ии разу еще ие дотрагивался до иее, даже не брал ее за руку — здоровались молча, одиими только глазами; лишь одиажды, когда их старшне группы купались, а оиа собирала в мокром песке малеиькие ракушки, он тоже набрал их целую горсть, подошел к ией и спросил:

— Тебе иужиы ракушки?

— Нужиы,— сказала оиа и подставила ладоии.

Ои с робостью коснулся ее холодных, мокрых рук, высыпая крошечиые ракушки, и спросил:

— А зачем тебе?

— Просто так.

Неделю назад их постригли иаголо, как в больиице,—

и мальчиков и девочек,— и она в тот день ходила заплаканная, в белой косыночке, боясь попадаться ему на глаза. И только на реке она была без косынки, и он заметил, что у нее на голове словно бы серая шапочка вместо волос. Ему тоже, конечно, неприятно было, его тоже никогда не стригли наголо, но он-то знал, что идет война, и не очень жалел.

Он вздохнул тогда и сказал:

— Без волос даже лучше. Не жарко.— И погладил себя по голове, словно по шершавой шкурке.

Она потупилась и покраснела, разглядывая ракушки, и только темя ее стало как будто бы голубым и нежным под тонкими колючками волос, и пальцы ног стыдливо зарылись в мокрый песок.

А сегодня после завтрака он притаился возле железной бочки с тухлой водой и ждал, когда выйдет Гыра: надо было отомстить, потому что тот вчера плеснул ему этой тухлятиной в лицо и удрал.

Гыра был парень вредный, потому что двое уже в интернате носили обидные клички: одного он прозвал Пудиком, а другого Цыпой. Ему нравились клички, и он охотно откликался на свою — Гыра, хотя звали его просто Женей. Он, наверное, придумал сам себе эту грозную кличку, чтоб избежать обидной. Хитрый был и обжора страшный, а говорил как с кашей во рту. «Лопшля и пшлеика — обошлешься!» — сказал Гыра как-то после обеда тем, кто ждал своей очереди.

Признаться честно, не очень-то хотелось связываться с этим Гырой: приклеит какую-нибудь кличку, потом не отлепишь никакими силами, а он и без того носил странное, как ему казалось, и смешное имя — Иннокентий, или Кеша.

Так вот, когда Кеша таился за железной бочкой, которая стояла на заднем дворе школы, и ждал Гыру, потому что Гыра всегда приходил сюда, на этот заросший травой и бурьяном двор, помочиться после еды и питья,— вместо Гыры во двор вышла Лариса Белякова. Гыра называл ее Ралисой. Она увидела Кешу и остановилась, а потом, вглядевшись и словно бы узнав, наконец спросила с удивлением:

— Что ты тут делаешь?

А он пожал плечами и сказал:

— Ничего,— хотя ужасно смутился, потому что представил на миг, будто она могла подумать, что и он приходит сюда за тем же, что и Гыра.

— А чего в этой бочке? — спросила она, подходя поближе.

— Тухлятина.

Она приблизилась к маслянисто-темной, мертвой воде, склонилась над бочкой, понюхала и сказала:

— Прудом пахнет.

— Каким прудом! Что ты! — воскликнул он и стал тоже нюхать воду.

Они теперь вместе склонились над застывшей водой. И он совсем забыл про запах, потому что вдруг увидел в черной воде, в этом черном зеркале, темное ее лицо, а рядом с ним свое, тоже темное, круглое, ушастое. Ее лицо было очень хорошее в этой тухлой тьме, и глаза ее были хорошо видны, большие и грустные. И он понял вдруг, что она тоже пристально смотрит на отражения, едва колеблемые дыханием.

— А мы как негры! — сказала она удивленно.

— Ага,— согласился он.

Запах тухлой воды, который только что казался ему отвратительным, стал вдруг входить в сознание живым каким-то запахом. Кеша втягивал воздух и не чувствовал брезгливости. Скорее наоборот — ему нравился этот густой и тягучий запах! А те мгновения, когда они, склоняясь над железной бочкой, вместе смотрели в черноту ее тухлой воды, показались ему бесконечно долгими и радостными, тревожными минутами.

— А косынка у тебя белая,— сказал он.

— Это потому, что ее солнце освещает,— ответила она.— А я знаю, где тут есть... настоящая пасека.

Она окунула пальцы в воду и сразу взъерошила отражения.

— Фу! — сказала она.— Действительно тухлая! А мы как дураки...

Светило солнце, мир был ярок и свеж, за школой галдели, били по мячу, смеялись ребята, на лугу перед селом паслись белая коза и два серых козлика, а из-за угла школы выглядывал Гыра и злорадно улыбался.

— Ой, держите меня! — заорал он вдруг во всю глотку и захохотал, хватаясь за живот.— Держите меня! Они пили из бочки!

— Дурак! — крикнул ему Кеша в отчаянии.— Сам ты пил! Дам по уху, тогда будешь орать...

Лариса взяла вдруг Кешу за руку и решительно сказала:

— Пошли отсюда, от этого полоумного, подальше...

И Кеша, подчиняясь, пошел за ней следом, хотя руку из ее руки постарался высвободить, потому что Гыра, видя

все это, падал на траву и дрыгал ногами. К счастью, никто из ребят не пришел на его хохот и крик.

Кеша был, конечно, смущен, когда Лариса, взяв его, как маленького, за руку, на глазах у этого Гыры повела прочь, куда-то в сторону села Незнанова, к белой козе с козлятами, и внутренне весь сопротивлялся этому, хмурился и молчал, не понимая своей покорности и стыдясь ее. А Лариса шла в розовом сарафане чуть впереди него и грустно взглядывала, словно бы оправдывалась.

— Не расстраивайся,— сказала она с просьбой в голосе.— Пожалуйста! Этот Гыра как вода в бочке, тронешь — и запахнет гадостью всякой... Ты его обязательно стукни как-нибудь разочек. Только без меня. Ты с ним сладишь, я знаю... Как следует стукни...

— Да хоть сейчас! — сказал Кеша воинственно.

— Не-ет, сейчас не надо. Мы ведь на пасеку с тобой собрались...

Они шли по зеленой выщипанной шерстке, на которой паслись серые гуси. И всякий раз, когда проходили мимо гусей, Лариса пугалась гневного их шипения, изогнутых шей и, сторонясь, не спускала с них глаз. Взгляд ее становился оторопелым, а протянутая к Кеше рука вздрагивала и волновалась, словно Лариса шла по жердочке через ручей, ища рукой невидимую опору. А Кеша, который тоже побаивался этих клювастых и важных птиц, шипящих позмеиному, сохранял спокойствие и чувствовал себя чуточку храбрецом на этой зеленой деревенской улице.

Потом они вышли к кладбищу, к облезлой церкви, в которой был клуб. Там, возле церкви, хоронили мертвых, там было много красной бузины и крестов. Они туда не пошли, а по тропочке под липами — огромными и раскидистыми, которые были посажены, наверное, очень-очень давно,— миновали кладбище. Пахло липами. Деревья уже зацвели и от множества соцветий казались гигантскими букетами.

— А я совсем не боюсь ходить по кладбищу,— сказала Лариса, когда они вышли к чечевичному полю.— Чего бояться-то, правда?

— Конечно,— согласился с ней Кеша, слыша позади птичий гомон и писк.— Мы, когда бабушку хоронили, я с мамой... потом уже... в темноте совсем... мы были... у нас дома там такие, знаешь, кустики на кладбище, а на них зеленые такие колбаски... До них дотронешься, а они — трык! — в пальцах сворачиваются, как пружинки, а горошинки маленькие разлетаются... А у вас на кладбище есть такие?

— Не знаю,— сказала Лариса удивлению.— У нас, помоему, никакого и кладбища нет...

— Ну как же нет?!

— Не знаю... У нас во дворе лепешечки растут, а мы их ели... всегда. Тут почему-то таких нет. Кеша, а твой папа на фронте?

— На фронте. А твой?

Лариса вздохнула и сказала:

— Тоже. Я видела, тебе письмо недавно было... От папы?

— От отца...

— А мой не пишет... Мама только...

— Фотокарточку прислал,— сказал Кеша с хвастливым и жестоким превосходством.— Они там сидят, наверное, около аэродрома, на земле, и отец смеется.

— Он летчик?

— Нет, он не летчик... он вообще механик, самолеты чинит. Пробьют крыло, а он почнинит. А форма у него как у летчика.

— А мой папа... Мы на даче жили, когда началась война... А он рыбу ушел еще вчера... ловить... Ну... вечером вот... Потом пришел и ничего не знает... А мы с мамой ждали, ждали. А папа пришел и говорит... и спрашивает: «Вы чего это носы повесили? Я рыбы наловил». А мама ему говорит: «Война». Он собрался и уехал... А рыба вся испортилась...

Чечевичное поле с белесой от пыли большой дорогой, вдоль которой далеко-далеко уносили куда-то столбы провисшую от жары проволоку, темно зеленело перед глазами. И казалось, будто над далекими его краями воздух пропылился зноем. Над дорожной пылью ластились молчаливые ласточки, молниеносно и упруго облетая Кешу и Ларису, а впереди над деревянными столбами, над проволокой дрожала в воздухе пустельга. Она как-то особенно часто махала крылышками и оставалась на одном месте, а когда Кеша и Лариса приближались, ее словно бы ветром сдувало и уносило. Но снова, трепеща, зависала она вдали над столбами, чтобы опять улететь. Она как будто поджидала и заманивала, заманивала в бесконечные дали двух маленьких человечков. И эти два человечка шагали вдоль вереницы столбов и говорили о войне и о своих отцах. Один говорил радуясь, а другой человек — печалясь. И они плохо понимали друг друга.

— Кеша,— вдруг сказала Лариса, все убыстряя шаг,— давай с тобой потихонечку от всех дружить.

Он тоже пошел ходче и, не глядя на нее, сказал:

— Давай.

— Только — никому! — сказала она.— А потом, после войны, когда мы будем большими, мы с тобой поженимся. Как все.

Она это сказала так, будто для нее это был давно уже обдуманный и решенный вопрос — дело оставалось только за временем, за очень медлительными, долгими годами. Он, в свою очередь, тоже подумал, что хорошо бы скорей стать большим и жениться на ней: проснуться бы завтра и... Но он так разволновался, услышав эти ее неожиданные слова, что никак не мог ничего сказать в ответ. А она шла чуть впереди него в насквозь пропыленных сандалиях, в розовом сарафане-колокольчике, худющая и смуглая, и он видел только очень красивый овал ее щеки, кончик носа и немножечко подбородок... И ему вдруг стало очень обидно, что им еще просто нельзя, просто никак невозможно жениться. В сознании своем он успел уже построить за эти мгновения целый комплекс каких-то непредвиденных обстоятельств, случайностей, которые могут все изменить, все разрушить, потому что впереди слишком уж много лет. Ему даже страшно стало, когда он подумал об этом или, вернее, когда почувствовал и ощутил, что Лариса может не навсегда быть только для него и только с ним, как теперь. Он даже успел разозлиться на нее за это.

— Смотри только! — сказал он неожиданно для самого себя мрачно и угрожающе.— Если ты все это врешь!

А Лариса тоже рассердилась и сказала:

— Ну и ладно. Я пошутила.

Она вдруг остановилась посреди дороги, повернулась к нему, насупленная, и хмуро сказала:

— Никуда я не пойду.

Он не ожидал этого и растерялся, но тоже остановился и сказал со злостью, поглядывая исподлобья на нее:

— Ну и не ходи!

Так они впервые в жизни поссорились.

Она стала снимать с ног сандалии и вытряхивать из них пыль. А он увидел в чечевичных зарослях плеть гороха, выдрал ее с корнем и стал есть зеленые, нежные, водянисто-сладкие стручки, сплевывая жвачку в пыль.

— Ну чего ты разозлилась? — спросил он, когда Лариса снова надела на ноги сандалии. Он заговорил именно в этот момент, ибо понял, что она и впрямь может сейчас повернуть домой.

— Я?! — удивилась она.

— А я, что ль? Я потому что... ты ничего не понимаешь! Я и не злился на тебя никогда.

— И я тоже.

— Хочешь гороху?

Лариса с сомнением посмотрела на протянутые стручки.

— Неспелый,— сказала она.

Но Кеша стал нахваливать и уверять, что это самый вкусный горох — неспелый и что потом, когда горошины будут твердыми, их и в рот-то не захочешь брать...

— Попробуй, попробуй,— говорил он.— Они сладкие...

И она взяла протянутый стручок, который был еще совсем прозрачный и еще даже цветок не отлетел от его острой макушки, а по просвеченному краешку смутно темнели изнутри и чуть бугрили глянцевую кожицу будущие горошины.

Так они тоже впервые и тоже незаметно для себя легко помирились, и Кеша стал рассказывать ей, как он вчера курил с ребятами свернутые в трубочку табачные листья — «сигару».

В этом районе Рязанской области было много полей, засеянных табаком. Мохнатенькие листья, высушенные на солнце, почему-то не желтели, как настоящий папиросный табак или махорка, а делались бурыми, издавая резкий и дурманящий запах. Свернутые, они никак не хотели дымиться, и редко кому из ребят удавалось раскурить свою сигару. И все старательно сплевывали тягучую, терпкую слюну. Но все-таки иногда удавалось — и тогда ребята смотрели на счастливчиков с завистью, а Гыра восторженно советовал: «Жадохиись, жадохиись». Но никто не решался задохнуться ядовитым дымом, от которого было горько и горячо во рту, а на сердце жутковато. Не решался и Кеша, видя в этом какой-то Гырин подвох и вовсе еще не представляя себе, как и зачем курят взрослые люди. И все же ему приятно было и тревожно втягивать в рот едкий дым и, подержав его там с затаенным дыханием, выпускать. «А слабó жадохнуться! — поддразнивал Гыра.— Слабó!» Кеша отдал ему свою дымящуюся сигару, тот ее взял двумя пальцами и на глазах у всех с отрешенным взглядом втянул в себя дым и вдруг задохнулся по-настоящему. С выпученными мокрыми глазами он долго и натужно кашлял, пуская слюни. Лицо его стало мучительно красным, и синие жилки вздулись на лбу. Гыра хрипел, словно подавился огромной костью, отплевывался, ему не хватало воздуха, и взгляд его выражал неподдельный испуг. Он с трудом отдышался, утерся рукой и, все еще по-

кашливая, бледиый и дурной иа вид, сказал удивлеино и весело, словио бы радуясь, что остался в живых: «Во жара! Думал, подохну...» — н все тер н тер себе грудь, которая, иавериое, болела от дыма и удушливого кашля.

Именно вчера после случая с сигарой Гыра и плесиул Кеше в лицо тухлой водой. Это было очень оскорбнтельно, потому что кое-кто из ребят видел, и все оин смеялнсь над Кешей и даже не пустнли его, когда ои пытался броситься иа Гыру. Но он н ие предполагал, что последует за этим случаем н за той сигарой, дымом которой Гыра на глазах у всех бесстрашно затянулся. У иего и в мыслях ие было, что Гыра теперь возвыснтся иад ним недосягаемо, а сам ои словио бы проиграет в жнзии что-то очень важиое, что-то такое, что уже почтн невозможно отыграть.

Ему все это не приходнло в голову. Он просто был зол на Гыру и рассчнтывал раио нлн поздно отомстнть ему, хотя тоже еще не знал, что теперь всякая месть его будет выглядеть в глазах интернатскнх ребят просто-напросто мелкой и бесполезной попыткой обндеть Гыру, и ребята теперь нн за что не простят ему этого и еще пуще стаиут смеяться над иим, а Гыру будут возвышать в своем созиании, наделяя всеми качествами прнзнанного вожака.

Ничего он этого ие знал, когда шел с Ларисой к близкому уже лесочку и хвастлнво рассказывал, как ои вчера курил с ребятами.

— Противно? — спрашнвала Ларнса с отвращеинем.

А Кеша, которому н в самом деле было протнвно держать во рту дымящнйся, свернутый в трубку табачный лист, от которого щипало губы н язык, отвечал ей с ухмылочкой:

— А как же все-то?

— А ты не будь как все.

— Почему?

— Потому,— с упрямством в голосе говорила Лариса.

Тем временем чечевнчное поле осталось позади, и лесочек, который совсем иедавно казался просто какой-то мутью иа горизонте, иадвинулся, вознесся к иебу, стал зеленым и курчавым, и уже слышно было, как цвиркали там потихонечку птицы...

Кеша спроснл:

— Ты здесь бывала?

— Не-а...— протянула Ларнса беззаботно, и ои с удивлением увидел, как оиа, сойдя с дорогн, стала рвать львиный зев, словио бы ей инчего и не иадо было больше.

— А про пасеку откуда зиаешь?

Она вдруг смутилась и, краснея, сощурилась виновато.

— Кеша,— сказала она,— я пошутила. Просто хотелось куда-нибудь удрать, а я одна... И придумала про пасеку... Ты ведь не сердишься на меня, Кеша?

...И вот теперь, заблудившись в лесу и выйдя на какое-то незнакомое поле, они шли по цветущей траве к череде берез, думая, что березы растут вдоль дороги, которая куда-нибудь да выведет. Впрочем, думал об этом один только Кеша. Лариса просто шла по пятам и, хоть очень устала, все равно успевала срывать красивые кашки, похожие на маленькие розы, все увеличивая и без того огромный и, наверное, тяжелый букет, который она неизвестно зачем тащила, прижав к груди.

Этот-то букет больше всего на свете злил Кешу. Он не мог и не хотел понять, зачем ей нужен был этот дурацкий букет сейчас, когда они, пропустив, наверное, уже время обеда, не знали, куда им идти. Он представлял себе, как завтра на утренней линейке, с которой начинался день в интернате, все будут поглядывать на него и на Ларису и как начальница интерната Лидия Федоровна вызовет их из строя и при всех будет говорить своим резким и крикливым голосом что-нибудь плохое про них, а все будут слушать и думать: «Как им не стыдно! Ушли вдвоем, никому ничего не сказав, и пропадали до вечера». И будут потихоньку думать, что этот Кеша и эта красная от стыда Лариса, стоящие перед строем, «влюбились».

И это последнее казалось самым ужасным, что мог себе представить Кеша. Его вдруг охватывало при этой мысли тоскливо-тревожное чувство, злость на Ларису и на ее дурацкий букет, и были даже минуты отчаяния, когда он останавливался и, оглядываясь, готов был плакать, и кричать, и звать кого-то на помощь, хотя никого не было видно вокруг и никого они не встретили с тех пор, как вышли из интерната, словно бы люди все вымерли или ушли воевать, бросив эти поля, перелески, лощины, и словно все дороги Рязанщины уже заросли травой и стали совсем незаметными, а им теперь не найти ни одной из них. В такие минуты Кеша готов был вырвать из рук Ларисы букет с повисшими, вялыми цветами и растоптать его.

А ее лицо пылало жаром, словно при температуре под сорок, и она смотрела на Кешу так доверчиво и так виновато, что все его раздражение пропадало, и только голосом своим выдавал он тревогу и растерянность.

— Хоть бы какое-нибудь дерево попалось,— говорил он в отчаянии.

— Ага,— соглашалась с ним Лариса покорно.

— Ага-ага! А зачем, думаешь, дерево-то нужно?

Она робко, словно бы боялась, что ее сейчас поколотят, спрашивала:

— В тенечке посидеть? Да, Кеш? А то жарко...

Он хмурился и по-взрослому говорил:

— Не до отдыха... С дерева можно оглядеться, залезть на макушку и оглядеться... Поняла?

— Ага,— говорила Лариса.

Теперь, когда они подходили к березам, она надеялась, что Кеша заберется на одну из этих берез, оглядится вокруг, увидит вдалеке село и, может быть, интернат, и все станет опять хорошо, а она успеет чуточку отдохнуть под березой, чуточку посидеть на земле и даже полежать.

Глава 2

Им повезло, потому что за березами и в самом деле была проезжая дорога со следами колес, и хотя она не была похожа на ту пыльную и широкую дорогу, по которой они шли сегодня к лесочку, радость их была беспредельна. Лариса даже вскрикнула от этой радости: «Ура!-ра!-ра!-ра!-ра!-ра! Ура!» — а Кеша улыбнулся снисходительно и, поглядывая на Ларису, сказал ей, что теперь-то, конечно, можно и отдохнуть немножко.

Впрочем, минутная радость его вскоре сменилась новой озабоченностью, потому что Кеша совсем не представлял, куда и в какую сторону нужно идти. Спросить было не у кого, а березы... Уж очень не хотелось сейчас на дерево, да и вряд ли можно было рассчитывать, забравшись на одно из них, увидеть какое-нибудь село, или сам интернат, или хотя бы знакомые места, по которым они уже проходили раньше,— кругом одни только луга и луга да цветы...

Он свалился в прохладную траву под березами, лег на спину, закрыл глаза и, видя сквозь веки полуденный свет, полетел. Ему было легко лететь в розовом мутном сиянии, и какое-то воздушное течение плавно подхватило его, и он, невесомый, покачиваясь, плыл в этом течении, и ему чудилось, будто ноги поднимались все выше и выше, переворачивая его вниз головой, и ничего нельзя было поделать, словно ноги наполнялись каким-то летательным газом, словно газ этот стал уже распирать и раздувать ноги, которые приятно и в то же время тягостно начали побаливать... А голова была очень тяжелая, и вся кровь будто

прилила к голове и бухала в висках, горячая и торопливая...

Веки у Кеши стали сами собой подрагивать, пытаясь раскрыться, и, как он ни старался продлить странное и непривычное состояние, зная, что все это ему только кажется, как он ни пытался еще немножко полежать в траве с закрытыми глазами, какая-то сила подняла веки, и он упал на землю. И почувствовал сразу ее неласковую жесткость.

Над ним сквозь листья посверкивало солнечное небо, листья чуть шевелились, и он бездумно и отрешенно стал смотреть на эти сверкающие листья, чувствуя и даже, кажется, слыша внутренним своим слухом, как гудят его натруженные, потяжелевшие ноги.

Он вспомнил о Ларисе и окликнул ее, все еще глядя на листья.

— Ты чего делаешь? — спросил он, когда она отозвалась.

— Тоже лежу.

— Устала?

— А ты?

— Я не устал.

— Я почему-то тоже не устала... Я тут землянику нашла.

— Много?

— Одну...

— Съела?

Лариса промолчала, и он услышал, как она поднялась, приблизилась и, невидимая, сказала где-то рядышком, сбоку:

— Закрой глаза.

Он легко подчинился, и Лариса положила ему в губы что-то маленькое, шершавое и круглое. Потом эта ягода, когда он раздавил ее языком, стала душистой и вкусной. А потом, как бритвой, резанула по пересохшему языку своей остротой. Он открыл глаза и увидел прямо над собой Ларису, ее худющие смуглые ноги с бурыми следами царапин, костистые коленки и счастливое ее лицо под косынкой.

«Смешная!» — подумал он застенчиво и спросил:

— А сама?

— Пить, Кешка, хочется ужасно!

— Да,—сказал он, вставая.— Надо идти. Ничего... Потерпи немножко, мне тоже хочется.

Эта дорога совсем не была похожа на ту вспухшую и взбитую от глубокой пыли дорогу. Ноги там утопали по

щиколотку в нежной и тяжелой пыли, которая не вздымалась от шагов, не летела, хотя была как пудра или как мука, а просто расступалась под ногами. Шаги не слышались на той мучнистой дороге, и следы не оставались ни от ног, ни от колес.

А это была живая, упругая, заросшая цветущими подорожниками, хорошая луговая дорога, идти по которой было бы очень приятно, знать бы только куда.

И не скоро бы они вернулись домой, если бы не встретилась им на этой дороге подвода. Чалая лошадка вразвалочку рысила им навстречу, а в небольшой телеге на зеленой травяной подстилке сидела старая женщина. И когда она остановила лошадь, то и от лошади и от этой зеленой вянущей травы запахло так хорошо, что казалось, будто и нет на свете более знакомого приятного запаха, чем этот запах, теплый и очень родной.

А когда женщина, улыбнувшись горько и скорбно, посадила их в телегу на холодную и сочную траву, Кеша и Лариса, которые только что взволнованно и наперебой объясняли ей, кто они и куда им нужно, сразу притихли на тряской телеге, забрались как будто бы в свои какие-то панцири, втянули и головы, и руки, и ноги, словно черепашки, и задумались.

Только теперь страх прокрался в их души. Оба они хорошо себе представляли, что ожидало их в том доме, куда они наконец-то возвращались, и каждый из них уже сейчас переживал это остро и болезненно. Лошадь резво бежала по крепкой и ровной дороге, и ее не нужно было подгонять, потому что она бежала домой. Старая женщина, не оглядываясь и ни о чем не спрашивая, тоже спешила домой. А Кеша, свесив ноги и вцепившись руками в гладкую жердину, завидовал этой чалой лошади и этой старой женщине, которым было сейчас хорошо и покойно, потому что они возвращались к себе домой без боязни и страха. Ему же придется спрыгнуть с телеги и вместе с Ларисой идти к своему живому, глазастому дому, который, казалось ему, зарычит и загогочет, затопает ногами, когда они подойдут поближе, схватит их за руки и стоголосо закричит: «Ага! Попались, субчики-голубчики!»

Он понимал, конечно, что если бы не Лариса, ничего подобного не случилось бы и ему не нужно было бы думать сейчас о расплате. Но он даже и не помышлял упрекнуть ее в чем-либо, потому что ему было жалко ее.

Она совсем пригорюнилась, тоже вцепившись побелев-

шими пальцами в жердину, и глаза ее были очень грустными и испуганными.

«Ей-то, конечно, хуже, чем мне,— думал Кеша.— Я в крайнем случае сбегу на фронт и все... Или в Москву удеру. Пусть тогда бесится эта Лидия Федоровна...»

И, развлекая себя, он рисовал мысленно картины бегства, военные подвиги, подбитый немецкий танк, под который он бросается со связкой гранат и погибает.... А Лидия Федоровна, прочитав в газетах и услышав о нем по радио, побледнеет вся, заплачет и будет сама пугаться всех, потому что все будут знать, что он из-за нее убежал из интерната и погиб как герой... А потом приедет отец... и тогда...

— Вот и приехали,— сказала женщина.

— Уже?! — воскликнула Лариса.— Ой, Кешка, я так боюсь!

А он, очнувшись от своих размышлений, тоже испугался этого «вот и приехали», которое словно кнутом ошпарило его по спине.

— Э-э-эх! Ну ладно. Была не была! — сказал он и стал благодарить женщину, которая сочувственно улыбалась детям, видимо хорошо понимая их состояние.

Лариса, чуть не плача, сказала:

— Скорей бы эта война кончалась!

Но женщина только сокрушенно покачала головой.

— Теперь уж не скоро... Вон куда, проклятый, докатился... И прет и прет... Теперь пока его остановят, пока обратно погонят... Скоро это не делается, детки мои. Ну, идите... Поругают маленько, а вы не обижайтесь... Им ведь за вас отвечать, у них ведь вас вон сколько. Идите с богом, не бойтесь...

К интернату они подъехали со стороны табачного поля. Приземистое школьное здание, в котором разместили эвакуированных московских ребят, смотрело на них как раз своим главным фасадом, своими большими окнами и большими дверями. Здесь всегда, в любое время дня, толпились ребята. И теперь нужно было идти на виду у всех по тропинке прямо к дому, который на этот раз был, как им казалось, зловеще насторожен и тих...

— Детки! — крикнула женщина, уже отъехав.— Цветы-то свои оставили.

Кеша обернулся и махнул рукой: не до цветов, мол. А Лариса прижалась к нему плечом и, испуганно поглядывая на притихший дом, взяла его за руку.

— Да ты что!

— Боюсь я ужасно,— сказала она шепотом.

— Боюсь, боюсь, а чего бояться-то! — проворчал Кеша, хотя все в нем замирало н сжнмалось от страха и нензвестностн.

Но он еще не подозревал, подходя к ннтернату, что те наказання, которые они получат от своих воспнтателей н от начальннцы, будут сущим пустяком по сравнению с наказаннем, которое уготовнли ему сверстннкн, сознанне которых было уже ие детскнм, но еще не стало н юиошеским, а потому всякое сблнжеиие мальчнка н девочкн возбуждало в ннх какне-то тумаиные, пугающне представлеиня. Оин уже знали слово любовь, но еще не дорослн даже до прнблизнтельного поннмаиня, что же означало на самом деле это слово, которое вызывало у них интерес, но которое одни нз ннх произиоснлн со стыдлнвостью, с опаской н робостью, другие с наглой усмешкой, а третьи вообще не решалнсь сказать его вслух.

Кеша и Ларнса тоже не отлнчалнсь в этом смысле от своих сверстииков, но так уж случнлось, что нмеиио оин поставилн себя в такое положенне, когда самым страшным для иих словом с этого дня стало хорошее слово «любовь».

Глава 3

Да, нх ругалн, конечно, н воспнтателн и начальннца и грознлнсь напнсать роднтелям об нх поступке.

На следующнй день нх выставилн перед всемн на утренией линейке, н Лидия Федоровна говорила металлнческнм голосом о трудностях, которые пережнвает вся страна, и о легкомысленном поступке Кешн Казарина и Ларнсы Беляковой, который онн совершнлн в это трудиое для всех н тревожиое время. Все вннмательио и хмуро слушали ее. Кеша почтн не подннмал глаза, разглядывая Ларнскнны сандалнн, которые как-то смешно съежнлнсь на ее ногах, покоробнлись н задралн кверху круглые, иастеганые травой облезлые носы.

Потом лннейка кончилась, и они, не глядя друг на друга, разошлнсь, а Кеша, проходя мнмо ребят, вдруг спнной услышал голос Гыры, который сказал всего-навсего:

— Ралиса...— обращаясь нменно к нему, к Кеше.

В этом слове н насмешку и презренне услышал Кеша, словно бы Гыра имел право иа эту жестокую насмешку. Кеша весь собрался, напрягся, готовый тут же ударнть по нахальной роже этого Гыры.

И если бы Кеша сейчас, сразу же после лннейки, прн всех ударнл Гыру и сшиб его с ног, ударил бы очень силь-

ио и зло, усугубив и без того незавидное свое положеиие, тогда, быть может, он сумел бы как-то изменить отиошеиие ребят к себе. Могло бы случиться так, что ребята отвернулись бы от Гыры или, во всяком случае, перестали смотреть иа него как иа вожака, а Кеше простнлнсь бы н иевыкуреиная сигара, и тухлая вода, которую он, так сказать, еще не смыл со своего лица, н эта затяиувшаяся с утра до ужнна прогулка с Ларисой. Все, коиечио, могло пойти по другому руслу, если бы... Если бы Кеша хоть смутио догадывался о том, что означали все эти слова, жесты, поступки Гыры для будущей его жизни в иитериате...

Но он не догадывался. Ои просто злился. И в этот раз, услышав Гыру, разозлился ужасно, ио простодушиая н добрая его иатура не отозвалась должным образом, потому что он совсем не поинмал этого Гыру, ие хотел поиимать и принимать его всерьез, только удивляясь порой, почему доставляет тому удовольствие издеваться над ребятами, над иим в том числе, и всячески подчеркивать свое какое-то дурацкое превосходство... С иекоторых пор Гыра ему стал противеи — и все. Он не замечал никакого его превосходства, оно ему в общем-то ие мешало жить. Собственно, его и ие занимало все это, ои вовсе не стремнлся быть вожаком, чувствуя себя достаточио самостоятельным для своих лет человеком.

Имениo эта независнмость вызывала у Гыры, который был старше Кеши — ему уже почти исполнилось тринадцать, какую-то неосознаииую, но постоянную тревогу и раздражеиие.

Чувствуя в Кеше Казарние полную свою противоположиость, Гыра настойчиво стремился подчииить его себе. А обстоятельства складывались сейчас в пользу Гыры.

Кеша ие ударил Гыру, когда тот иазвал его «Ралисой». А Гыре иужна была победа как раз в этот день, когда заварилась такая история с девчоикой. И ои победил.

Кеша даже не обернулся. А Гыра нагло смеялся ему вслед. Ребята тоже смеялись и кричалн:

— Ралиса, Ралиса!..

Кеше хотелоть плакать от обиды, и ои все время щурился и смотрел поверх голов, чтобы ие расплакаться. А получалось, будто смотрел он на ребят свысока н презрительио, и, видимо, это так н понималось ими, потому что даже те из иих, иа которых надеялся Кеша, не подошли, когда ои остался одни: то ли постеснялись, то ли в самом деле решили, что он зазнался.

А Лариса как ии в чем ие бывало пошла со своими дев-

чонками завтракать. И когда Кеша это увидел, он совсем растерялся и, оставшись в одиночестве, на дворе, всхлипнул и что есть силы стиснул зубы.

Глава 4

А на завтрак была горячая отварная картошка, от которой шел пар, и половина большого холодного огурца. Картошка была молодая, но уже крупная и рассыпчатая, а огурцы с кислинкой — переросшие семенники с пожелтевшей кожей.

Кончался июль.

А когда он прошел и наступил последний летний месяц, стали по ночам греметь грозы и лить дожди. И это было очень кстати, потому что все уже пожухло от зноя, а дожди словно бы вернули к жизни и деревья и травы — все опять зазеленело и зацвело, как в мае.

Кеша свыкся уже со своим одиночеством и отчуждением, свыкся и с тем, что теперь на обеденных столах, на стенах и даже просто на вытоптанной земле на волейбольной площадке или на бочке с тухлой водой видел он вырезанные ножом, нацарапанные гвоздями или написанные мелом, карандашом, куском кирпича прочные и как будто извечные, привычные уже слова: «Кеша + Лариса = Любовь».

Эти слова теперь были не только на стенах, на коре деревьев или на земле — эти слова теперь были навечно вырезаны в его сознании, в душе, ему даже порой казалось, что они были в воздухе, звучали там и звенели.

Первое время Кеша пытался зачеркивать, стирать, затаптывать эти слова, но потом смирился и незаметно для самого себя даже стал иногда откликаться, когда его называли Ралисой.

Что-то смирилось в нем, и он уже не мог, не имел как будто никакого права, не смел обижаться, когда его называли Ралисой или не приглашали играть в футбол, хотя он не хуже других гонял потрепанный мяч и не хуже других мог ударить по воротам...

Иногда ему доверяли место вратаря, но это было пустое место, потому что никто не умел и не хотел стоять в воротах и редко кому удавалось брать мячи; никто из вратарей не падал, конечно, в ноги нападающим, не брал угловые мячи, а надеялся только на свои ноги и не работал руками. Это было пустое место! И когда никто не хотел стоять в воротах, тогда кто-нибудь вспоминал о Кеше и кричал ему,

а он всегда был где-нибудь поблизости, где-то в сторонке:

— Ралиса, вставай на кипера! Только смотри, гад! Держи ворота.

И Кеша, забывая о гордости, бежал обрадованно к пустой рамке ворот и очень старался, очень нервничал, падал с восторгом на идущий мяч, ловил его, но чаще пропускал, потому что он тоже, как и другие, не умел и не любил стоять в воротах... Да и матчи кончались обычно с огромным счетом.

Но всякий раз, когда проигрывала команда, в которой Кеша стоял за кипера, возбужденные и потные ребята в азартной злобе говорили между собой:

— Да этот Ралиса! Дырка.

— А кто его звал-то? Тебя кто просил в ворота? Эй, Ралиса!

— Ему в куклы, а не в футбол играть... Иди-ка ты к своей Ларисе. Чего ты тут?!

А когда команда выигрывала, о Кеше забывали.

Но все равно это были лучшие минуты в его жизни, когда ребята, с которыми он играл, одерживали победу. Он радовался вместе со всеми и тоже посмеивался, улыбался, даже если Гыра вдруг, заметив улыбку, показывал на него пальцем и удивленно восклицал:

— А этот-то! Тоже выиграл! Хе-хе! Ралиса-то лыбится! Умора! Ну чего ты лыбишься?

— Да ладно тебе,— говорил ему Кеша с обидой, но уже без прежней злости и ненависти, которые он тоже незаметно для самого себя утратил, робея теперь перед этим Гырой и надеясь только на его снисходительность и доброту.

А Гыра безбоязненно мог теперь подойти к нему и отвесить «шелобан» по лбу — без злости тоже и без причины даже, а просто так, куражась у всех на виду.

И странное дело! Кеша переносил это спокойно и даже как будто весело, словно так оно и должно было быть теперь, словно это был единственный способ остаться среди разных — добрых, злых, умных и глупых — ребят, которые казались ему теперь такими славными и необходимыми, что он готов был вытерпеть ради них всевозможные унижения, лишь бы они не дразнили его, не чурались и не гнали от себя.

Он теперь не мог без них. Они теперь были нужны ему в жизни так, как никто никогда прежде не был нужен. Именно они, эти ребята, ровесники, с которыми связала его судьба, стали для него мерилом всех добрых и злых дел, стали судьями, которые, как ему чудилось в лучшие

мннуты, готовы были простнть и забыть обо всем, если бы только не Гыра...

Глава 5

Впрочем, теперь и Гыра почти перестал обращать иа него вниманне. Просто он держал его на почтительиом от себя расстояинн, не выказывая ему ии доброты своей, ии злостн... Но близко все-такн не подпускал.

И когда Кеше нестерпимо горько становнлось в одиночестве, когда ои опять н опять поннмал, что ннкто из ребят ие хочет серьезно слушать его, серьезио говорнть с ннм, и когда иаступало отчаянне, ему вдруг хотелось подойти к этому Гыре н попроснть его по-дружескн, попроснть очеиь нскренне, чтобы тот перестал к нему т а к относнться, а еслн Кеша в чем-иибудь вииоват перед инм, то простил.

Это были тяжелые мннуты, когда ои так задумывался, ие виня выхода и ии на что уже не надеясь. Будущее представлялось ему в эти мннуты такнм безрадостным и жестоким, что становнлось страшно. И он завидовал всякому, кто не был, как он, отвергиут, кто мог спокойно сндеть в столовой и есть свою кашу нлн картошку с огурцом, зиая, что иикто не сыпанет вдруг соли в тарелку и не броснт огрызок огурца. Ои ие мог еще постичь истнниых причии и размеров того горя, которое рухнуло вдруг иа него и прндавило, и потому оно казалось ему огромным, как жнзнь, которую не обойти и ие объехать.

Те дни, когда ребята работали на колхозных полях, пропалывая морковь нлн свеклу, а рукн, пропнтаиые почерневшим соком, саднилн от колючнх сорняков,— эти дии мнновали, и теперь ребят часто водилн иа далекне луга ворошнть сено. Это была прнятная и легкая работа, словио бы нм разрешали взрослые людн делать что-то недозволеииое — тормошить скошеииое, подсыхающее сено, раскндывать его с весельем н беспечностью н слышать еще к тому же благодариость от колхозииков за свой радостный н какой-то душистый труд. Намахавшись за день граблями, чувствуя приятиую ломоту в плечах, оии приходили иа реку купаться.

Кеша обычио сидел в сторопке и пересыпал текучий сухой песок, который просачивался сквозь пальцы, н песчинки, увлекая друг дружку, ускользали нз рук.... На это можио было смотреть бескоиечио, как на огоиь илн воду, н нн о чем не думать. Это было приятно. Иногда ему попадался на глаза черный муравьишка, и он засыпал его песком, а

потом долго ждал, когда на скате ровной песчаной пирамидкн вдруг начнут пошевеливаться песчинки и вороненый муравей как ни в чем не бывало выберется наконец из-под тяжелого песка.

Кеше казалось, когда он наблюдал за муравьями, что муравьи эти заблуднлись в песчаной пустыне и сами не знают, куда и зачем спешат. А он для них — ннкто. Он так велик для них, что они его просто не видят и не понимают, что он тоже живой, как и они... И ему приятно было делать эти маленькие открытия н наблюдать за тем, как муравьнщка выбирается из-под толщи сухого, горячего песка на свет. Это была увлекательная и немного страшная игра без правнл, в которую муравьишке, наверно, тоже было интересно играть.

А река протекала здесь чистая и глубокая, с темными омутами под нависшим ивняком и желтыми перекатамн. И вода была теплая. А там, где был песок, там были мелкие н тихие заводиночки, вода в которых особенно сильно прогревалась под солнцем. Там хорошо и вкусно пахло рекой, там собирались стайками крошечные мальки величиной с овсинку. Они все разом серым каким-то дымком вытекали вдруг из заводи, когда Кеша приближался к ней, н только редкие из них метались, посверкивали искорками, не вндя в панике выхода в реку.

Однажды Кеша увлекся и далеко ушел от пляжа, а потом, когда возвращался, увидел Ларису. Она, не замечая его, шла по-над берегом с подружкой и собнрала цветы. Кеша испугался и бросился в куст, притаившись там в его гущине над водой.

На Ларисе был тот же розовый сарафан, но только теперь он казался белым, потому что выгорел за лето, словно бы отцвел, а на голове была тоже выгоревшая, светлая тюбетейка, из-под которой на лоб уже стала напользать черная челка отрастающих волос. И сама она вся почти черной казалась, потому что шла по вершине крутого бережка на фоне огромного слепящего неба, которое сплошным сверкающнм солнцем, сплошным каким-то сияннем возносилось над ней, над зеленым берегом и над белымн песчаными плешинами, над кустами ивняка, росшими на этом песке. А в этом ярком мире кучились в небе прозрачные облака, и чудилось, будто они были выше солнца.

Так ее увидел Кеша в это мгновение и, обмирая, смотрел на глиняную обожженность ее острых плеч, на смуглую ее щеку и всем своим существом чувствовал, как она красива теперь и как хорошо, что она живет в интернате н, на-

верное, еще долго будет жить, потому что война, и как странно теперь знать, что именно с ней и совсем еще недавно ходили они, потеряв дорогу, по лугам, с ней говорил он и слушал ее... И все это казалось ему теперь, когда вот уже чуть ли не месяц они избегали друг друга, какой-то доброй и заманчивой, очень хорошей неправдой, так как все тогда было просто и ясно, а теперь он боялся ее и не смел подумать, чтобы так же, как раньше, встретиться с ней и хотя бы сказать ей «здравствуй». Теперь это было почти невозможно. Теперь он мог лишь исподтишка смотреть на нее и вспоминать с удивлением и восторгом... Так же вот, как и сейчас, в ивовых зарослях.

— Смешно! — сказала Лариса своей подруге.— Ты очень смешно говоришь.

Он и голоса ее тоже давно не слышал. А теперь она словно ему сказала: «Очень смешно говоришь». Он даже затаил дыхание — так неожиданно это было.

— Почему же? — возразила ей та.

— Нет, Вера, странно... Глупая! Неужели ты думаешь... Он мне совсем не нравится...

В первое мгновение, когда он так близко услышал ее голос, его испугало вовсе не то, что кто-то ей совсем не нравится, а то испугало, что она, говоря про это, могла вдруг увидеть его и очень смутиться, могла растеряться вдруг и покраснеть от стыда, а потом долго переживать свое признание, которое он невольно подслушал. Ему было неловко за нее и не хотелось делать ей больно, а он понимал, что, если Лариса увидит его, ей будет стыдно и больно, потому что, быть может, это о нем она говорила: «Он мне совсем не нравится»,— потому что о ком еще из ребят могла бы она так сказать?

«Конечно, обо мне,— подумал внезапно Кеша с удивлением.— Почему? «Он мне совсем...» Почему «совсем не нравится»... Я?»

— Нет, Вера,— говорила Лариса, скрываясь уже из виду,— я не могу этого сделать. Это будет нечестно. Я все уже поняла... Все! Честное слово. А если мальчишки всякое там пишут на столах, то и пусть. Меня не касается...

Вера ей что-то невнятное стала говорить, Кеша не расслышал, но опять очень четко и громко отвечала Лариса:

— Ну почему? Я ж его не просила! Он сам... Неужели ты думаешь?

И теперь, когда Кеша окончательно понял, что Лариса и в самом деле говорила о нем, когда он осознал все это и уже где-то внутри себя услышал ее слова, интонацию, с

какой она произносила: «Он мне совсем не нравится»,— он подумал в смятении:

«Ну, нет же, конечно! Может, вовсе не обо мне... Она говорила: «Я же его не просила, он сам». А что сам? О чем она меня не просила? Ничего этого не было? Не было. Значит, она о ком-то другом сказала... Она не такая. Она не может. Просто притворяется. И скрывает. Ну и хорошо, что скрывает».

И когда он незаметно, кустами и по воде, вернулся на пляж, на котором все еще шумно возились уже озябшие ребята с пыльными спинами, ему стало совсем тяжело, как будто он очень, очень устал.

— Казарин,— услышал он голос воспитательницы.— Кеша! Ты что, оглох? Мы скоро уходим. Ты не будешь купаться? Заболел?

— Нет,— ответил Кеша.

— Что нет? — спросила Анна Сергеевна.

— Не заболел. Не хочется мне.

— Сейчас же в воду!

И Кеша, подчиняясь, пошел. Вода показалась ему ледяной, и он, зайдя по колено, остановился, не решаясь идти дальше, и почувствовал, как холод сковывает нестерпимой болью все его тело. Он сделал шаг и еще и услышал вдруг сзади топот по песку и тут же брызги, но было поздно, потому что хохочущий Гыра, а с ним еще трое толкнули его, схватили ледяными руками и, хохоча, поволокли на глубину, туда, где было по шею.

— Ну что! — сказал он с отвращением.— Ну зачем? Пустите... Да пустите же...

Он не кричал и не смеялся, он говорил это тихо, с брезгливостью в голосе, понимая, что бесполезно спорить или кричать. Надо было смеяться, а он не мог в этот раз. И никто ничего не понимал. Его окунули и отпустили на глубине, а Гыра стукнул ладонью по воде, направив брызги прямо ему в лицо, и Кеша зажмурился, чуть не заплакав от обиды.

— Гад,— сказал он тихо и зло и посмотрел с ненавистью в хохочущие Гырины глаза.

А Гыра удивленно замер и с застывшей ухмылкой сказал:

— Повтори...

— Гад,— так же тихо сказал ему Кеша.

— Хочешь утоплю? Хочешь наглотаться!

— Учти, Гыра,— неожиданно для самого себя еле слышно сказал Кеша,— если ты сейчас дотронешься до меня, я

вцеплюсь в тебя зубами, утащу на глубину и утоплюсь вместе с тобой... Учти это, Гыра...

— Тронулся? — спросил Гыра с удивлением и захохотал опять.

Но смех его был на этот раз напряженным и скованным, потому что озябшие ребята вышли уже на песок, а Кеша стоял рядом с ним на глубине и с нешутейным безумством говорил ему, шевеля посиневшими губами:

— Уйди, Гыра... Я не отвечаю за себя... Уйди.

— Еэ-э-эй! — крикнул вдруг Гыра на всю реку.— Давай сюда!

Но Анна Сергеевна никого не пустила: все и так уже перекупались. А Кеша, тяжело идя к берегу, с ужасом и смятением думал о своей бешеной смелости, которую Гыра, как всегда, не простит, конечно, и что-то еще придумает, что-то будет еще тайно готовить, чтобы отомстить. Сердце колотилось так, что чудилось, будто оно колотилось в горле. Кеша уже жалел о случившемся.

Глава 6

Но Гыра не спешил. Он как будто бы не придал никакого значения случившемуся, забыл обо всем и не хотел вспоминать. И только спустя много дней, когда Анна Сергеевна, очень еще молодая и милая учительница, видимо уловив в Гыре какие-то способности подчинять себе ребят, назначила его старостой старшей группы, Кеша узнал наконец жестокую Гырину месть.

Анна Сергеевна, муж которой, воюя с первых дней, давно уже не писал, была поглощена невеселыми своими мыслями: ей было страшно, и она даже чувствовала потребность бросить всю эту возню с детьми и уехать в Москву, чтобы находиться поближе к фронту, поближе к мужу, к главным событиям войны, которые там, в Москве, конечно, осмысливались отчетливее и яснее, чем здесь. В этом своем состоянии душевной тревоги она не очень-то задумывалась, кого назначить старостой, ибо ей хотелось в какой-то степени освободить себя от ежечасных дум о ребятах, от постоянного беспокойства за них — просто нужно было найти властного и послушного ей парня, которому смогла бы она доверять. Выбор пал на Гыру, а ребята, когда Анна Сергеевна объявила об этом своем решении, хором поддержали ее.

Ребята из старшей группы, как, впрочем, и все остальные, жили в большой двухоконной светлой классной ком-

нате. Школа была только что выстроена, и в ней еще ни разу не звенели звонки. Она, конечно, не была похожа на московскую четырехэтажную, но все-таки это была хорошая кирпичная школа с большими окнами, с большими классами, стены которых были окрашены в желтый приятный цвет, а рамы и двери — в белый.

В комнатах, в которых собрались в этот год учиться сельские ребята, теперь стояли деревянные топчаны, застеленные разноцветными ватными и байковыми одеялами — теми самыми одеялами, какими снабдили своих детей родители, отправляя их в интернат. Топчаны стояли почти вплотную друг к дружке, упираясь торцами в стены, и все ребята как будто бы были равны, но все-таки в каждой комнате имелись такие местечки, которые считались предпочтительнее и удобнее других: например, в углах около окон. Это были самые лучшие места, потому что можно было лежать, отвернувшись к стенке, а можно было смотреть в окно... Были и другие места, похуже — вдоль стен. Но были и вовсе плохие два места по обе стороны входной двери.

Одно из лучших мест занимал в комнате Гыра: он спал на топчане, который стоял в углу, около окна. В другом углу комнаты с самого первого дня поселился Кеша. Это произошло случайно, когда их только что привезли и лишь успели распределить по группам и комнатам. Кто-то из ребят, видимо часто бывавших в пионерлагерях, крикнул громко: «Места занимайте!» И Кеша, стоявший возле дверей, кинулся в комнату первым и, сообразив, в чем дело, занял светлый угол.

Несколько ночей ребята спали кое-как на полу, на сенных матрацах, пока им не сделали деревянные топчаны, непривычно высокие и громоздкие, как верстаки. Но зато с высокого топчана Кеша мог подолгу смотреть в окно, даже не поднимая с подушки головы, и часто так и засыпал.

Гыра выменял свое место на перочинный нож, который он, кстати, потом получил обратно без всяких разменов.

Кеша очень дорожил своим местом. На стенке над постелью висели приклеенные хлебным мякишем цветные почтовые открытки, присланные отцом: наш танк с огромной, яростной скоростью врезается на бугре и вздымает ударом квадратный танк с ненавистным крестом на башне; наш красный ястребок взмывает в голубое небо, а вниз летит, оставляя за собой черный дым, черный самолет с крестами на крыльях — «Смерть немецким оккупантам!» По вечерам, когда в приятной дремоте Кеша смотрел на эти картинки,

он начинал порой слышать ревущий грохот машины и гром удара и видел тогда, как сметенный с бугра фашнстский танк разлетается на куски, а наш несется дальше, лязгая траками гусениц, вздрагивая от пушечных выстрелов, которыми разит он другие танкн, оставшиеся там, в стороне, слева, не увнденные художником, но которые вндел своим воображением Кеша... А когда он смотрел на воздушный бой, то садился в тесную кабину пнлота и вглядывался в небо, ища противника; заметив же немецкий самолет, бросался сверху, слыша звон мотора н нажнмая на гашетку, когда самолет попадал в прицел, и восторженно вндел пламя, которое вдруг вырывалось вместе с черным дымом нз подожженного крыла, и самолет с крестамн, падающий вниз, как н тот, который был уже подожжен на картннке.

Две почтовые этн открытки всегда висели перед его глазами, и он так привык к этим ярким картинкам, что порой они для него становились какнми-то чудесными окнами в мир фантазий, в мир боев и побед.

А отец пнсал ему крупными, четкимн буквами: «Здравствуй, дорогой мой сын. Здравствуй, Кеша. Я жив, здоров и тебе того же больше всего на свете желаю. Пишн мне почаще. Если получншь письмо от мамы, пиши и об этом. Как ты живешь? Как дружншь с ребятами? Что делаешь? Пиши обо всем. И будь здоров. Недавно я видел пленного немца-летчика, который опустнлся на парашюте в лес. Мы поймалн этого бандита, его сбнлн нашн соколы в небе над аэродромом, как и того, который нарнсован на этой открытке. Он сдался в плен и говорил: «Гнтлер капут». Ну, будь здоров, Кеша, дружи с ребятами, не давай себя в обиду, но н не обижай никого, особенно младших. Я уверен в тебе. Твой папа».

Этн лиловые строчкн были повернуты к стенке, но когда вдруг Кеша вспоминал о них, ему становилось очень и очень стыдно перед отцом, который совсем не знал о том, как трудно ему жить теперь, какую обидную кличку далн ему и как все изменилось в жнзни, так изменнлось, что и писать не хочется.

«Зачем же тебя обманывать, папка? — думал он.— Ты уж не обижайся, что я не пишу. Чего же писать-то! Я у тебя дурак н совсем никуда не гожусь. Ты и не знаешь, какой я по сравнению с другимн трус. Ты и не поверишь даже. А я ничего не могу. Я даже часто плачу, и мне совсем не стыдно плакать, потому что обндно очень. И меня никто не любнт и не дружит со мной, как будто я глупее всех. А это неправда».

Так порой разговаривал Кеша с отцом, и казалось тогда, будто горло его разрывала аигииная боль, и трудио было терпеть этот тайиый болезиеииый взрыд, остаиовлеииый в горле. И дышать было больио и трудио. Но все-таки еще хуже было, когда этот взрыд прорывался вдруг и Кеша мучительио всхлипывал, прислушиваясь в страхе: ие услышал ли кто в иочи этот всхлип, похожий иа жалобный крик...

Но ои ие смог утерпеть и уиять своих слез в ту иочь, когда впервые выиуждеи был улечься иа чужое место, иа чужой топчаи, который стоял около самой двери.

Глава 7

А случилось вот что. Ои вериулся после ужииа в комнату. Весь деиь и вечер лил бескоиечный холодиый дождь. Раио стемиело. В школе пахло дымом, потому что впервые топили иовые печи.

Тепло оии все-таки дали, и в этом продымлеииом, душиом тепле, как всегда, гомоиили ребята: боролись, возились иа измятых кроватях, писали письма за столом, читали, играли в самодельиые шашки. Но все притихли, когда в комиате появился Кеша. А ои, ие глядя ии иа кого, сразу увидел в своем углу Япоица, который лежал иа кровати, отвериувшись к стеие.

Это был щуплеиький и иевысокий, безымянный паренек с прищуристыми глазками, за которые прозвал его Гыра Япоицем. Имеиио этот пареиь когда-то вымеиял свое место иа перочииный иож, оставаясь с тех пор иа Гырииом топчаие, а теперь вот лежал в Кешиином углу и, видимо, притворился спящим. Кеша тронул его за иогу, но Япоиец подобрался весь, согнул ноги в колеиях и ие двинулся.

— Не буди человека,— сказал вдруг Гыра.— Ои хоть и Японеч, а шпать ему тоже охота.

Кеша в растеряииости посмотрел иа Гыру, который сидел за столом и хмуро читал какую-то киижку.

— Почему же?

— Твое мешто теперь иа проходе.

Этого Кеша никак ие ожидал.

— Да ты что, Гыра! — сказал ои удивленно.

Кое-кто из ребят ухмыльиулся, а кто-то потупился, ие желая встретиться взглядом с Кешей. Тогда Гыра отложил свою книжку («Киига за киигой»,— машииальио прочел на потрепанной обложке Кеша) и спокойно сказал:

— Мы о тебе жаботимся, Ралиса. На уличе холодио, из

окошка дует — проштудишься. А там тепло. Видишь, там печка у шамой головы. Иди туда. Иди.

Ои равиодушно смотрел иа Кешу и ждал чего-то.

— У тебя ведь нашморк? — спросил ои опять.— Вот иди и погрейся. А Япоиеч там будет шпать. Мы даже картиины твои перевесили. Я их приклеил, а оии не жахотели: печка горячая — обожглись.

И тут только Кеша увидел бугорки засохшего хлеба иа стеие — все, что осталось от отцовских открыток. И одеяло было чужое. И подушка.

Все перемешалось у Кеши в созиаиии, все его чувства и мысли: какие-то слова хотели, ио не могли прорваться сквозь эту мешаиину, что-то мешало им.

Какие-то силы подиимали его, и бешеиство подступало к глазам, ио другие силы усмиряли это буйство, и тело утопало в слабости. Страх готов был перейти в бесстрашие, а бесстрашие тоиуло в мерзком и ватном страхе. Все граиицы чувств были открыты, все перепуталось, сбилось в одну какую-то кучу, и Кеша, ослабиув вдруг под этой тяжестью, печальио и затравлеиио улыбиулся, и у него сразу иамокли от слез улыбающиеся глаза.

— Ладио,— сказал он то ли с угрозой, то ли со смиреиием.— Ладно, ладно...

И пошел прочь из комиаты.

А Гыра бросил ему вслед:

— Если что Ание Сергеевне — будет темная.

Ребята молчали. И только когда Кеша затворил за собой дверь, оии возбужденно заговорили все сразу, загалдели. Но о чем они говорили, Кеша уже не слышал. Да и не мог слышать, потому что в ушах его бухало, и ои ощупью шел по коридору, думая только о том, куда и зачем он идет: ведь на улице дождь. Ему совсем иикуда не хотелось идти, а тем более к Аиие Сергеевне, которая назиачила Гыру старостой. В коридоре все еще пахло недавиим ужином и слышно было, как звенели вилки. А в столовой за дверью о чем-то разговаривали воспитатели. Кто-то из них засмеялся вдруг.

«В уборную надо сходить»,— подумал тогда с облегчением Кеша и направился к выходу. В этом была хоть какая-то цель.

Дождик сразу зашумел по навесу крыльца, по железиой крыше, и темная холодная сырость сомкиулась над иим. Глухо стукнула дверь. Он ничего ие увидел. Он только услышал, как моиотоиио и скучно лился иа гулкую крышу холодный дождь, и как стекал ои с крыши, и как падал с

шепотом в лужи, которые были где-то внизу, на земле, и как шипела плотная ночная темень перед глазами, такая густая, что чудилось, будто можно ее руками ощупать и не идти, а плыть по ней, как по воде. Большие окна школы керосиново-тускло светились в этой железной, остылой тьме, и страшно было уходить от коричневатого света, который теплился за мокрыми, потными окнами. Но уборная стояла на отшибе, шагах в сорока от школы — длинный дощатый сарай, разделенный надвое.

Кто уж не знает этих старых уборных! Маленькие, одноместные, и большие, длинные, компанейские, с множеством дырок в дощатом настиле — все они строятся по единому проекту, и все они смердят одинаково, хоть и сыплют и льют в зловонные эти дыры гашеную известь или торф, карболку или крапивные листья, отгоняющие мух. И лишь в морозы терпимы они, хотя и нетерпимы тогда морозы... И эта тоже стояла теперь во тьме, и дорогу к ней ноги уже так изучили, что памятью своей в любой темноте приводили безошибочно, даже сейчас, по невидимой мокрой тропе.

Подойдя вплотную к двери, Кеша нащупал железную хлипкую ручку и вошел. Ногой наткнулся на приступок с дырками и собрался уже помочиться, как вдруг услышал в дальнем углу какой-то плаксивый писк.

Этот протяжный и робкий писк оборвался всхлипом, потом комариной ноткой вкрался в шелест дождя.

— Эй,— сказал Кеша вдруг осевшим голосом.— Ты чего? Кто тут?

Писк утих, и Кеша услышал, как кто-то переминался с ноги на ногу, затаивая всхлипывающее, судорожное дыхание.

— Ты чего плачешь? — снова спросил Кеша.

— Ни...— ответил кто-то, не справляясь с рыданиями.— Ничего...

По голосу Кеша догадался, что это был какой-то малыш, наверное, из младшей группы, и сказал ему:

— Ты что здесь? Провалился? Ты где?

— Никуда я... Никуда я...

— А что ты плачешь?

— Я никак...

— Чего? — удивленно спросил Кеша.

— От штанов...

Кеша равнодушно-грустно улыбнулся, когда услышал это «от штанов».

— Какие еще штаны? — спросил он.— Что ты выдумываешь?

— Пуговица оторвалась.

— У тебя сбоку застежка, что ль?—догадался Кеша.

— Да.

— Так ты рукой держи и не соскочат... Вот чудак-то? Ты кто? Как тебя зовут?

— Валька.

— Рыжий, что ль?

— Нет... другой Валька.

— Чего же плакать-то?

Валька никак не мог успокоиться и говорил сквозь душившие его рыдания, шумно дыша носом, всхлипывая и в то же время крепясь что есть силы.

— Мне,—сказал он отрывисто,—домой... очень хочется...

— Ну пошли, я тебя провожу.

— Мне... совсем домой... хочется...

Кеша ничего не ответил на это и «с дуру»—как он подумал потом—сам чуть было не всхлипнул, услышав это Валькино «совсем домой хочется». Он вдруг хорошо понял родственную эту душу, которая жаловалась ему в смердящей тьме холодной уборной, выплакивала великое свое горе, забившись в темный угол, которая именно здесь была ранена, убита горем, убита бесконечно черной ночью, осенним дождем, шумевшим за дощатыми стенами, была смертельно ранена невозможностью сейчас же, сию минуту, позвать сюда самую любимую, самую дорогую и все понимающую, ласковую маму, без которой стало уже невозможно жить, просто не было уже никаких силенок терпеть эту страшную отдаленность от нее. Валька, быть может, стерпел бы еще и не расплакался здесь, но, на беду, вот пуговица вдруг отлетела от штанов, покатилась куда-то в потемках и пропала. А другой ведь не было. И воспитательница что-то скажет теперь: может быть, нет у нее больше пуговиц... Только у мамы. А мама далеко... А он без нее такой несчастный, так обижен судьбой, что просто невозможно больше терпеть и терпеть. Вот и заплакал. А когда расплакался—испугался. Вернется в комнату, а там ребята. А он заплаканный и штаны рукой поддерживает, чтобы не свалились. Ребята смеяться будут. Вот и остался тут.

Кеша хорошо вдруг все это почувствовал и понял Вальку с его злосчастной пуговицей. Он сам горько вздохнул и сказал:

— А говоришь, пуговица.

— Ага...

— Да черт с ней. Пошли. Не ночевать же здесь.

И Кеша словно бы кожей ощутил, как приблизилось к нему во тьме что-то теплое и несчастное, он словно бы услышал запах горячих слез.

— Иди за мной,— сказал он, протягивая Вальке руку.

Валька был маленький, и плечи его были хилые, непрочные, как будто из хрящика, а голова казалась большой и тяжелой, как булыжник.

Когда они вошли в школу, Валька наконец притих и старался, наверное, совсем не дышать. Только носом хлюпал.

— Помойся,— сказал ему Кеша.— Пойдем я тебе помогу.

И он в потемках сполоснул Валькино горячее лицо и даже вытер его своим носовым платком. Фонарь «летучая мышь», который висел в «умывалке», светил так тускло сквозь закопченное стекло, что никто и не обратил внимания на Кешу и на Вальку. Да и зашли-то сюда только две девчонки, которые долго бренчали железными сосками рукомойников, умываясь перед сном, и не смотрели на них.

— Пора, Валька, спать,— сказал Кеша, когда они снова вышли в коридор.

И Валька, не прощаясь, пугливо заторопился к своей комнате, поддерживая рукой короткие летние штаны с застежкой на боку. А Кеша долго еще стоял в нерешительности и очень жалел, что Валька этот живет в другой комнате и младше его, наверное, года на четыре.

Глава 8

А когда Кеша, превозмогая себя, открыл дверь своей комнаты, он увидел Анну Сергеевну, которая сидела за столом и что-то читала ребятам вслух, как всегда это делала перед сном. А ребята лежали в своих постелях и внимательно слушали ее. В комнате на столе горела одна только лампа. Она стояла как раз над тем местом, где было вырезано ножом и обведено чернилами «К + Л = любовь». Анна Сергеевна строго посмотрела на Кешу и, прервав чтение, сказала:

— Мы все очень рады видеть вас.— И хмуро улыбнулась.

А Гыра подскочил вдруг на своем топчане и, корча рожи, пропел елейным голоском:

— Слава аллаху! Вернулся наш великий путешественник. Аминь!

Это вызвало сразу прнвычный гогот, хотя и ие было тут ничего смешиого. Анна Сергеевиа, ни о чем не подозревая и не питая, конечно, к Кеше Казарииу никаких особых чувств, тем более чувств, похожих хотя бы отдаленно на какую-либо иеприязиь илн преиебрежение, спросила между тем:

— А ты перебрался поближе к печке? На тепленькое местечко? Быстро ты...— И оиа, видя перед собой покорного и, как, наверное, ей казалось, виноватого Кешу, спросила у Гыры, иазывая его, коиечно, по имеии:

— Женя, а ты где был? Ты же староста. Он у тебя спросил?

— Да,— сказал Гыра.— Пушкай греется.

Кеша, не веря своим ушам, смотрел то на Гыру, то иа Аину Сергеевиу, которые, как это нн странио было, еще и осуждалн его за то, что он ложился теперь спать, крепя слезы, у горячей печки, а не у мнлого своего окна, хотя осуждеиие их было скорее насмешлнвым, чем строгнм. Но больше всего его мучило н угнетало то, что Аииа Сергеевна верила Гыре, и иикакими силами иельзя было ей сейчас доказать, что он, Кеша Казарин, совсем не хотел перебираться к теплой печке и что его заставили это сделать. Он поиимал, что еслн даже сказать сейчас об этом Аине Сергеевие, то все равно оиа ие поверит. И Гыра это тоже хорошо поиимал: в таких делах ои был расчетлнв и хитер, как росомаха!

— Ладно, ребята! — сказала Аина Сергеевна.— Ложитесь-ка спать... Нос в подушку.

— Аииа Сергеевиа! — запричиталн, как всегда, ребята.

— А-а-аииа Сергеевиа, Аисергеевн! Ну почнтайте еще!

Но Анна Сергеевиа встала н, с улыбкой оглядывая всех, произнесла обычиое свое:

— Отца с матерью почитайте.

Повериула фитиль в лампе, дунула и ушла.

В комиате едко запахло жжеиым фнтилем н керосинчнком, и стало слышио, как шепелявнл дождь.

Глава 9

Кеша долго не мог усиуть иа иовом месте, смотрел в далекое теперь окно илн, вериее, в сырую и кромешную ночь за окиом н, пытаясь отвлечься от мрачных раздумий, старался разглядеть в промозглой тьме хотя бы окониые рамы. Но напрасно. Иногда вдруг ветер ломнлся в невиднмые окна, и хрупкие стекла упруго гуделн, а в рамах

что-то потрескивало, поскрипывало чуть слышно, и капли, льющиеся с крыши, били по стеклам, как будто кто-то хлестал мокрой тряпкой.

Ребята уснули, и стало слышно глубокое их дыхание, сопение, вздохи и тихие какие-то бредни, какое-то бормотание сквозь сон, чмоканье и легкие всхрапы.

Кеша пытался внушить себе, что переселение к горячей печке не так уж и страшно в конце-то концов, что жить-то, конечно, можно и здесь и если хорошенько подумать, то просто ему до сих пор везло, а теперь вот нет. Только и всего. Могло ведь случиться и так, что он не стоял бы тогда у дверей, а кто-то не крикнул «места занимай»,— и он вообще никогда не имел бы хорошего места. Случай!

Но, понимая все это, он не мог смириться с несправедливостью. И не мог понять, как, когда и почему стал он покорным и робким, не смеющим слова сказать в свою защиту. Как это все случилось? В чем виноват он перед ребятами? И зачем все это? Ведь если бы его по-дружески попросили, он сам перебрался бы к печке, понимая, что он уж и так слишком долго занимал удобное место. Все было бы просто и ясно. И не мучили бы слезы.

А когда он вспоминал о слезах, к горлу его подкатывало рыдание, и он, как маленький Валька, крепился что было сил, но затаенный взрыд прорывался, и Кеша, уткнувшись в подушку, вцепившись в нее зубами, судорожно плакал, словно бы кашлял в подушку, и задыхался от этого болезненного кашля — он давно так не плакал.

И никогда еще в жизни не чувствовал он в себе такой мстительной, злобной силы, которая кипела сейчас в нем, не давая забыться и успокоиться. Все ужасы пыток, какие могли взбрести ему в эту ночь на ум, призывал он к себе на помощь, чтобы замучить хоть мысленно своего врага.

Но корчился сам от мучительного бессилия, потому что чувствовал, как все это глупо было и ничтожно по сравнению с теми муками, которым подверг его Гыра, ибо тот применял к нему пытки куда хитрее и коварнее тех, которые Кеша мог придумать и вообразить даже в лихорадочном состоянии озлобленности. Гыра поступал элементарно просто, бил наверняка. Он унижал его человеческое достоинство. А это, если размышлять отвлеченно, если на минуту позабыть о мальчишках и представить себе отношения людей зрелых, это самая страшная и мучительная пытка. И самое гнусное преступление, на какое способен человек, живущий среди своих собратьев, потому что это преступление не наказуемо законом. Изощреннейшим способом один

человек убивает в другом его дух — его высокое достоинство, без которого нет человека. Какие же муки испытывает человек, теряя высшее свое начало! Это ли не преступление? Не страшнее ли оно убийства? Ведь духовно нищий человек опасен для общества, потому что человек этот заразен в своей униженности. Зло — когда человек унижает другого, но не меньшее зло, когда человек позволяет другому унижать себя.

Разве не так? Разве они не стоят друг друга? А кто же тогда преступник? Оселок, о который точится нож, или нож, который становится острее, прикасаясь к оселку?

Но Кеша, который глухо и судорожно плакал, уткнувшись в жаркую подушку, не думал, конечно, об этом. Он знал, что виноват во всем Гыра, и думал в простоте своей, что если не будет вдруг Гыры, для него опять начнется хорошая, легкая и счастливая жизнь. Он ненавидел Гыру. Это был самый опасный и самый жестокий человек, которого он когда-либо знал. Он еще не был подготовлен к встрече с таким человеком и теперь страдал, думая, что во всех его бедах и горестях виноват только этот хитрый и мстительный Гыра, которому было тринадцать и который подчинил себе всех в интернате, а с такими, как Кеша, с теми, которые пробовали сопротивляться ему, боролся, как ловкий и опытный интриган, и усмирял, используя для этого все возможные средства, подсказанные инстинктом самоутверждения.

Можно считать, что после этого вечера Кеша был совсем парализован. Его попытка к сопротивлению была наказана.

А Гыра, который уж конечно не пытался ничего анализировать, который вообще не задумывался над выбором средств борьбы, не учитывал осознанно той или иной ситуации, в которой он действовал, в общем-то и не догадывался, не знал и знать не хотел о Кешиных страданиях и спокойно спал. Он с вечера еще выкинул из головы этого Кешу, или Ралису, как он прозвал его случайно, и тот ему был совсем теперь неинтересен.

А Кеше казалось, что в великом множестве вздохов, сопения, тихого храпа, которыми была наполнена душная комната, он отчетливо слышит какое-то сиплое шипение (так порой дышит человек, спящий с открытым ртом). Казалось ему, что он слышит только этот злобный и угрожающий сип... И чудилось ему в отчаянии, что он слышит дыхание Гыры, который на самом деле крепко и мирно спал в своем углу у прохладного окна.

Глава 10

Холодный дождь закончился только к утру, но утро было пасмурное и ветреное. Ветер был очень сильный, и, когда налетали порывы, чудилось, что съеженные, колючие лужи выплеснутся и унесутся в брызгах вслед за ветром. Обсохшая трава волновалась, и каждая травинка, каждый стебелек суетились под ветром, гнулись, ластились, льнули к земле, серебрились, раскачивались. Все, что было непрочно на земле, посвистывало, погромыхивало, скрипело, напоминая о себе.

А людям, которые жили на этом плоском, курчавом кусочке земли, как-то вдруг сразу стало тревожно и понятно, что вместе с холодным ночным дождем пришла осень и что теперь уже не будет тепла и солнца, а будет долгая война, потому что армия Гитлера уже на подступах к Москве и первые беженцы потянулись с запада по большаку.

Было очень страшно и грустно смотреть на этих людей. Усталая лошадь тащила по слякотной дороге телегу со скарбом; детские лица с испуганными и неморгающими глазами, женщина в грязных сапогах. А за телегой — корова на привязи. Куда они? Откуда? Неужели так близко беда?

Беженцы проплывали по раскисшей дороге безмолвными, серыми тенями тревог. Никто не спрашивал их, и они тоже не спрашивали ни о чем, словно была у них впереди какая-то не ведомая никому, туманная цель. И это странное, бесконечное состояние движения, размеренный лошадиный шаг, размеренное качение колес, по спицам которых тоже размеренно и постоянно текла и стекала дорожная грязь, покорный и неторопливый шаг привязанной коровы — все это создавало у тех, кто провожал беженцев взглядом, впечатление какой-то всесильной необходимости движения. Всех начинала угнетать и тревожить собственная оседлость.

Молодая беременная женщина, которая через четыре месяца рассчитывала родить ребенка, приехала из Москвы сравнительно недавно, добралась сюда с огромным трудом, надеясь только на добросердие людей и на счастливый случай. Она поселилась в селе, около которого стояла школа, потому что в этой школе жил ее первенец.

Через неделю после приезда ее приняли на работу в интернат. И хотя должности ночной няни в интернате не было, Лидия Федоровна сжалилась над этой несчастной, как она подумала о ней, беременной женщиной с предродовыми

пятнами на лице, очень на вид усталой и исхудавшей и все время робеющей и как будто стыдящейся своего живота.

Этой женщине просто повезло, потому что Лидия Федоровна всегда старалась помочь тем людям, которые ей казались несчастными. У самой у нее был жесткий, крутой характер, железная, начальственная дикция, она вела аскетический образ жизни, но питала слабость к людям, противоположным ей по характеру, привычкам и поведению. А эта новенькая, которую звали необычным и звонким именем Аглая, была именно такой: застенчивой, невзрачной и покорной; о таких говорят: мухи не обидит. Она приятно держалась, чуть заметно посмеиваясь над всеми своими бедами, умела без всякого труда и стараний расположить к себе и, главное, что особенно нравилось Лидии Федоровне, совсем не рассчитывала на удачу, на счастье, словно она не просить пришла, а просто поговорить о своих тревогах и о своем житье-бытье. Она часто приговаривала: «Если это, конечно, возможно... Если это не обременит вас... Если я не буду вам в тягость...» А положение у нее было незавидное. Она чудом осталась в живых, потому что дом ее был искорежен фугасной бомбой, или, как говорили, торпедой, которую немцы сбросили в один из своих налетов на хлебозавод... Тогда на Коровьем валу был разрушен целый квартал, а дом, в котором она жила, стоял ближе к Мытной улице, но тоже очень пострадал, и жить в нем стало опасно. Это было страшное зрелище! Она не хотела вспоминать и, робко улыбаясь, умолкала, косясь на свой живот, словно бы говорила: «Вы меня простите, пожалуйста, но я не могу об этом вспоминать. Мне нельзя тревожить того, кто у меня там, внутри... Ему передастся мой страх... А он и так уже исстрадался вместе со мной. Вы уж простите меня...»

Она была русая, волосы зачесывала гладко, кожа на ее лице обветрилась, а коричневые пятна на верхней губе подчеркивали и обостряли нос. И только на лбу, в том месте, где начинали расти волосы, зачесанные назад, просвечивала белая и какая-то беззащитная, детская, не тронутая солнцем и ветром, наивная кожица.

— Значит, вас зовут Глашей? — спросила Лидия Федоровна.

— Нет,— ответила она смущенно.— Глаша — это Глафира, а меня, если хотите, зовите Гелей... Меня все так зовут. Звали,— поправилась она с удивлением и каким-то неожиданным озорством.— Но можно по-всякому! Можно и Глаша.

И она стала Глашей.

— Потому что Геля,— сказала Лидия Федоровна,— какое-то мальчишечье имя. Химия какая-то сплошная. Гелий — это газ, ничто! Глупость одна.

Со следующей ночи Глаша пришла на работу и стала дежурить в комнатах у малышей. Когда наступила осень и затопили печи, она порой присаживалась к горячему печному боку и задремывала. Сквозь легкую эту дрему слышала, как вставали среди тьмы, топали босиком по полу и снова ложились, уходя в свои сны, маленькие полуночники. Она часто поднималась, чтобы поправить сползшие одеяла, а кому-то, совсем маленькому, помочь сесть на горшок. И снова присаживалась к печке, зная, что у нее опять есть в запасе немножко времени, когда можно подразнить себя дремой, прислониться к теплой печке, прижаться к ней и закрыть глаза.

Но она всякий раз вздрагивала и настораживалась, когда поднимался среди ночи ее сын. Она всегда угадывала скрип его топчана, его шаги, тяжелые и тукающие, как у отца, и ей всегда хотелось подойти к нему и погладить, чтобы ему приснился хороший сон. И она это делала порой... И тогда тихая и грустная до слез радость переполняла ее душу.

— Мам,— спрашивал иногда сын среди ночи,— ты что не спишь?

А она ему отвечала:

— Не хочется,— и беззвучно смеялась.

И сын ей верил, засыпая мгновенно.

Иногда вдруг кто-то никак не мог спросонья найти горшок, натыкался на топчаны, теряя всякое представление, где он и куда идти... Она выручала таких, наговаривая шепотом что-нибудь ласковое, чтобы не испугались эти заплутавшие в своих снах, полусонные дети. А однажды сама испугалась. Вдруг среди ночи один малыш уверенно подошел и стал как-то странно и торопливо ощупывать горячую белую печь, словно бы гладить или отыскивать что-то. Ей сделалось не по себе, у нее перехватило дыхание, и она, с трудом пересилив страх, торопливо и испуганно спросила:

— Что? Тебе что? Ну что? Что? — А малыш плаксиво замычал в ответ и шагнул к ней, протягивая руку... Как она не закричала в этот момент от испуга, трудно сказать. К счастью, малыш обиженно хмыкнул, просыпаясь...

— Что тебе? А? — спрашивала она.— Ты что?

— А шкаф-то где? — спросил мальчик сквозь слезы.

— Шкаф?

Она все сразу поняла и, обняв мальчишку, стала шептать ему нежно и ласково, все еще переживая свой дикий испуг:

— Это тебе сон приснился, глупенький. Иди скорей спать... Пойдем провожу тебя, укрою одеяльцем, и ты опять увидишь шкаф, а в шкафу, наверно, конфеты и всякое печенье... вкусная колбаска и, может быть, даже мандарины... Такие душистые, душистые... Сладкие... Ну, спи, малыш. Спи скорей. А то ничего не увидишь, глупенький... Надо сразу уснуть. А я тебя поглажу по головке.

После бессонных ночей все рассветы казались Глаше седыми и сумрачными, будто глаза ее переставали различать цвет; даже солнце казалось белым и холодным, а земля в эти ясные рассветы горбилась под ногами, нидеявложесткая, и трудно было идти по ней — кружилась голова. И очень холодно было всегда: холодно идти до села, а потом ложиться в ледяную постель, и мучиться, согревая окоченевшие ноги, и дрожать всем телом.

Но все-таки она была счастлива, если, конечно, можно говорить о счастье, когда никаких известий от мужа, а немцы подходят к Москве, счастлива от сознания, что где-то поблизости бегает, наверное, в эти минуты ее сытый, обутый и одетый Володька, что у нее есть работа и что завтра, а вернее, уже сегодня, снова наступит тревожная ночь, и она пойдет на дежурство к детям, которым очень нужна по ночам. Она это знала теперь. И спокойно погружалась в свой тяжелый, утренний сон в побеленной комнате, стены которой казались ей ледяными.

Глава 11

Наступила еще одна холодная и хмурая ночь. Ни единой звездочки не было видно на небе, но облака поднялись высоко. Впрочем, они еще с вечера залегли высоко и слитно: чудилось, будто небо от горизонта и до зенита было слоеным, будто мягкие, серые волны шли со всех сторон, накатываясь на зенит, и только там пенились и светлели. А днем даже солнце где-то проглядывало пушистым робким свечением в этих просветленных облаках... На закате по небу разлилась розовая теплынь — так река на рассвете красит густой туман,— и в этой своей розовости серые волны в небе казались синими и лиловыми.

Но скоро цветное небо померкло, и земля опустилась в мрачную, черную ночь. В эту ночь все замерло неподвижно на остылой земле, и всякий звук был отчетливо слышен...

Глаше даже казалось, когда она выходила на улицу, будто слышит сквозь стены и окна, как вздыхают спящие в доме ребята.

В эту слишком спокойную ночь с небывалой опаской и жутью выходила она из дому и чуть ли не бегом возвращалась обратно, потому что вздохи и ахи, тихие шорохи, шепот и стоны были повсюду, преследовали ее и пугали.

Была уже полночь, когда она вдруг увидела за окнами странные багровые всполохи. Было все так же тихо, но в черной тишине далеко-далеко вдруг стали вздрагивать багровым отсветом высокие облака.

Иногда эти вспышки были мгновенные, как вспышки далеких молний, иногда облака багрянились надолго. Горизонт был темен и хмур, и только высокие облака отражали эти тихие, молчаливые всполохи, которые исходили все время из одного и того же места. И оттого, что они не перемещались по горизонту, Глаша с ужасом вдруг поняла, что в эти минуты где-то не так далеко, хотя и далеко еще, конечно, отсюда, шла неистовая бомбежка.

Она себе представила все до мельчайших подробностей и с заколотившимся и словно бы разросшимся в груди сердцем услышала здесь, в бесшумной и страшной тишине, в своем обожженном сознании звуки падающих бомб, и ахающие их взрывы, и утробный, угрюмый гуд невидимых в небе самолетов, и снова адовы визги, тонущие в грохоте, и снова гуд неторопливых самолетов, и пальбу зенитных пушек, ведущих бесприцельный, заградительный огонь. И луч прожектора увидела, который вдруг зацепился в небе за что-то колючее и остро блеснувшее, и другие лучи, которые тут же подвалили и, перекрещиваясь, повели сверкающий голубой самолет, вокруг которого стали рваться снаряды, словно немец сбрасывал парашютный десант, словно купола парашютов раскрывались под самолетом... И ужас свой вспомнила, и запах едкой гари, и панический свой страх перед развалинами. Все это мгновенно восстало перед глазами, и страх поднял ее на ноги. Она вышла в тихий коридор, но, не зная, что делать, опять вернулась в комнату, и опять увидела дрожащие отблески в облаках, и тогда опять покоряясь страху, выбежала в коридор, и там вдруг увидела в коричневых сумерках керосинового света Лидию Федоровну. Ей показалось, что в тишине она услышала ее тяжкий вздох и стон...

— Лидия Федоровна! — воскликнула она громким шепотом.— Что же это, а?

Та вдруг резко повернулась к ней и, словно бы каменея, выдавила из себя:

— В чем дело?

Лицо ее в это мгновение выражало какую-то мучительную брезгливость и нетерпение.

— В чем дело, я спрашиваю? — повторила она резко.

Глаша растерялась и сказала шепотом:

— Ну как же... Разве вы... Ведь это же где-то бомбят! Я знаю.

— Это гроза,— сказала Лидия Федоровна строго.

— Какая же гроза! Октябрь месяц...

— Это гроза,— свистящим шепотом выговорила Лидия Федоровна.— Обыкновенная гроза.

«Да что это она? — удивленно подумала Глаша.— Дурочкой меня считает?» Но, покоряясь властному и угрожающему шепоту, согласно кивнула и сказала:

— Я поняла, поняла, конечно...

— И чтобы никому ни слова,— приказала Лидия Федоровна.— Никакой паники. Иначе...

— Хорошо, Лидия Федоровна, я все поняла. Это... далеко еще...

— Гроза? — спросила та с нарочитым спокойствием.

Глаша, жалко улыбаясь, посмотрела на нее.

— Что далеко?! — повторила свой вопрос Лидия Федоровна, но уже с угрозой и нетерпением.

— Гроза,— покорно согласилась Глаша.

— Ну вот и хорошо. А теперь ступай. Я слышу... Мне кажется, кто-то плачет. Ступай.

«Что это с ней? — снова подумала Глаша, прислушиваясь.— Все тихо, никто не плачет. Все тихо...»

Перед ней стояла в угловатом и строгом платье коротко стриженная, седеющая женщина с сухим, темным лицом. Волосы были всклокочены, и в тишине было слышно, как трудно и часто она дышит.

— Господи! До чего же все это!..— начала вдруг Лидия Федоровна и, не договорив, быстро ушла к себе.

А Глаша виновато охнула, и с этим ощущением непонятной виноватости перед Лидией Федоровной, которая, как ей теперь казалось, очень обиделась и рассердилась на нее, вернулась в комнату, из окон которой только что видела багровые вспышки в небе. Она долго вглядывалась в потемки, но теперь все было спокойно и черно за окном, словно и в самом деле где-то стороной прошла запоздалая гроза и рассеялась.

Глава 12

А утром стало известно, что у Лидии Федоровны погиб на фронте единственный сын, который, если бы не война, должен был закончить осенью сорок первого службу в армии и вернуться домой...

Но именно в эти осенние дни многим впервые стало известно не только то, что сын ее дрался и погиб в бою, но и то, что у Лидии Федоровны вообще был сын и что была она матерью. Что эта желчная с виду, строгая и резкая, даже порой грубая женщина когда-то в счастливых муках родила на свет мальчишку, вскормила его своим молоком, пела ему тихие баюшки, а потом учила его ходить, учила складывать звуки и слова и удивлялась, когда это выходило у него, отвечала на все «почему», растила сына, была с ним и ласкова и строга и, как о самой себе, никому не рассказывала о нем, полагая, наверное, что каждая мать, которой бы стала она говорить о своем удивительном, самом умном и самом красивом сыне, никогда бы внутренне не согласилась с ней, потому что самым красивым и умным на свете ребенком был для той, без сомнения, собственный сын.

Она свои радости прятала от людей, не растрачивая их, и они были вечно с ней, как теперь будет вечно с ней ее невыносимая, жуткая и все-таки скрытая от людей, запрятанная на дно души скорбь.

И все вдруг остро почувствовали ее недосягаемое великодушие, а скорбь, которую тайно и мучительно переживала она, легла на сердце людей истинной печалью, и каждый испытывал какое-то кроткое смирение перед этой женщиной. Особенно Глаша, которая к тому же чувствовала себя виноватой перед ней, потому что ночь, когда бомбили пригороды Рязани, была для Лидии Федоровны первой ночью ее мучений, а именно в эту страшную ночь Глаша встревожила ее своими глупыми страхами. И теперь казнила себя за это, готова была услужить ей хотя бы в малости и ждала случая. Но случай не приходил. А сама Лидия Федоровна, чувствуя и, вероятно, понимая доброе расположение к себе людей, вела себя еще более отчужденно, чем раньше, словно боясь малейшего проявления сострадания с их стороны. Ее резкий голос приобрел в эти дни брезгливую окраску, точно она хотела лишний раз подчеркнуть свою требовательность к людям, хотя за этим скрывалось всего-навсего ее нестерпимое желание как можно скорее закончить необходимые, но тяжкие для

нее разговоры о каких-то пустяках, о сущей чепухе, уйти от этих разговоров и остаться опять и опять одной со своей великой печалью, слушать свою боль и ни о чем не думать.

А думать ей приходилось об очень многом. На ее плечи легли все самые важные заботы об интернате, о маленьких и взрослых его обитателях: потому и была она предельно собрана каждый день и строга.

Но теперь ей хотелось побыть одной.

А люди по доброте своей считали, что ей как раз и нельзя оставаться наедине со своим горем. А потому они чаще, чем это было нужно, приходили к ней и спрашивали о каких-либо делах, о которых раньше никогда не спрашивали, просили ее распоряжений даже в тех случаях, в каких раньше обходились без ее участия, советовались с ней по таким вопросам, в которых раньше совсем не видели нужды советоваться. И все они, эти милые и добрые женщины интерната, молодые учительницы, ставшие воспитателями, выражали всякий раз, как казалось Лидии Федоровне, хоть и искреннюю, но ужасно бестактную готовность заплакать вместе с ней, словно бы только и ждали малейшего повода с ее стороны, чтобы выразить сострадание. Это сердило ее, но и пугало всякий раз, потому что ей тоже, конечно, было трудно одной, больно переносить свое горе, и она боялась чужой жалости. Но она и помыслить не могла, чтобы сознательно вовлечь в это свое, как она считала, личное горе окружающих ее людей. Это было бы слишком эгоистично, как думала она, а потому с брезгливым нетерпением разговаривала в эти дни со всеми людьми, подавляя в себе свою слабость и боль, которая просила выхода.

Только однажды, позвав к себе в комнату молчаливую и робкую Глашу, которая стала раньше обычного приходить на дежурства, спросила вдруг у нее с непривычной теплотой и лаской в голосе:

— Глашенька, а не трудно тебе? Не тяжело ли?

— Ой, что вы, Лидия Федоровна! Что вы! Я ведь совсем ничего не делаю, прихожу, сажусь у печки и дремлю,— призналась Глаша.— Мне даже стыдно, что я ничего не делаю.

— А горшки? — спросила та с вымученной улыбкой.

— Ну разве это трудно! Да и потом... пора опять привыкать ко всяким пеленкам, к горшкам...

— Ты по утрам еще полы подметаешь. И кажется, даже мыла полы... А?

— Ну что ж! Разве это трудно?

— Больше этого не делай.

— Ну уж нет, Лидия Федоровна! — сказала Глаша решительно.— Это моя обязанность, и я...

Но она не успела договорить, потому что с Лидией Федоровной произошло что-то странное и непонятное: она болезненно сморщилась вдруг и, с ожесточением стукнув ладонью по столу, крикнула визгливо и злобно:

— Не сметь! Дура несчастная! Я приказываю тебе!

Это было так неожиданно, что Глаша не успела ничего понять и заплакала.

— Ну что ты ревешь! — говорила ей Лидия Федоровна, успокаиваясь.— Ну перестань сейчас же. Ведь у тебя большой сын, а ты ведешь себя как девчонка... Разве можно мыть полы в твоем положении? Ну разве это не дурость? И не обижайся, ради бога... Я ведь не со злости, а по-доброму на тебя наорала.

— Да разве я обижаюсь? Лидия Федоровна...— проговорила Глаша сквозь слезы.— Лидия Федоровна... Дорогая моя Лидия Федоровна... Я, Лидия Федоровна... Ох, господи! Как мне вас жалко-то, господи! — И она опять разрыдалась, увидев впервые слезы на глазах у этой стареющей, некрасивой женщины, подстриженной коротко и так небрежно, что ее сивые, жесткие волосы торчали в разные стороны, как взъерошенные перья птицы.

— А ведь в ту-то ночь,— сказала Лидия Федоровна,— немцы уже под Рязанью бомбили. Думаю, как бы не пришлось нам сниматься отсюда...— И прикрыла глаза.

Мелкие и редкие ее ресницы были мокры и слиплись, хотя она уже не плакала.

— Слушай,— велела она Глаше,— и помни! Не вздумай больше делать по-своему. Кстати, ты видела: войска уже сюда пришли. Ты видела? Они в селе.

— Да, Лидия Федоровна. Видела...

— Ну, хорошо, хорошо,— вдруг с привычным уже нетерпением сказала Лидия Федоровна.— Ступай, Глаша. Иди, милая. Неужели надо просить об этом! Я уже не могу... просто нет сил! Пойми.

И Глаша, испуганно закивав головой, торопливо вышла, осторожно прикрыв за собою дверь. И услышала в то же мгновение, как скрипнула в комнате начальницы железная кровать.

Глава 13

А на следующее утро на синем осеннем небе неслепко и нежарко светило солнце. Было хорошо на воздухе и холодно, хотя солнце еще пригревало. Его тепло казалось приятным в этот октябрьский зябкий денек; оно было ласковым, как тепло костра; к этому теплу можно было подставить спину, и спина согревалась, можно было повернуться к нему лицом и, прикрыв глаза, чувствовать, как согреваются озябшие щеки и нос и как вливается оно с каждым вздохом в грудь, растекаясь по телу каким-то горячим соком.

Это особенно хорошо теперь чувствовал Кеша Казарин, которому приходилось спать около горячей печки. После душной ночи ему даже почудилось в это утро, будто он окунулся вдруг в прохладную и душистую воду.

После завтрака опять затеяли футбол, и все ребята толпились там, на вытоптанном поле, на пригреве. А Кеша, обойдя стороной футбольное поле, побрел куда глаза глядят и вышел к старым липам за кладбищем. Они его поманили издали своей солнечной желтизной, и он пришел к ним.

Длинная их череда, окаймляющая кладбище, четко теперь граничила с небесами; липы пожелтели, а небо стало небывало синим, и потому кудрявые верхушки лип, казалось, были теперь вырезаны на этой синеве, и не в небесах они были, как летом, не шумели они там, не стремились туда, а, притихшие, замерли в желтом оцепенении и тоже, как люди и как все живое на земле, принимали последние земные радости — солнечное тепло.

А под липами, за этой живой границей кладбища, грудились в это утро, как копенки сена, на траве солдаты. Их было много. Они еще были по-летнему одеты, и все на них было новое — гимнастерки, пилотки, и тупорылые бутсы, и обмотки до колен.

Когда Кеша их увидел, сердце его сильно заколотилось, словно он уже побежал что есть мочи к ним, а ноги вдруг ослабели и не послушались. И он в нерешительности остановился, с восторгом глядя на небывалое чудо: на солдат, которых не было тут еще вчера и вообще никогда тут не было, а вдруг вот появились и расселись на солнышке под старыми липами. Солдаты были большие и грозные. И ему почудилось, что пахло от них в солнечном свежем воздухе забытым отцовским потом, пахло тревожно и заманчиво, и их раскрасневшиеся лица с блестящими

от испарины лбами показались Кеше серьезными и недоступно суровыми. Солдаты куда-то смотрели внимательно, и никто из них не заметил Кешу, который, осмелев, подошел ближе и тоже посмотрел туда, куда и все они смотрели. И увидел командира в фуражке: он стоял на лугу и что-то говорил, объясняя солдатам. Но Кеша не услышал ни одного его слова, точно командир просто открывал и закрывал рот, не произнося ни звука. Он увидел в руках у этого старого, как ему показалось, человека черный, тяжело поблескивающий на солнце пистолет. Он увидел, не веря самому себе, как командир поднял руку с пистолетом и, все так же странно улыбаясь, прицелился в фанеру, которая была прислонена к комлю дальней липы, а потом Кеша увидел, как пистолет вздрогнул в руке у командира, и тут же раздался резкий треск, будто бы кто-то изо всех сил ударил палкой по доске, а потом пистолет опять дернулся, и опять раздался треск, и медная гильза, кувыркаясь, отлетела в сторону, и новая медная гильза отлетела в траву, и опять оглушительный треск и мутная короткая стрела из дула точно ожившего пистолета. И злая улыбка на лице у командира. И казалось, конца не будет этому зрелищу, этим выстрелам и Кешиному восторгу и радости...

Но все окончилось, и командир теперь уже с мягкой улыбкой опустил пистолет и посмотрел на бойцов. А Кеша увидел, что он не такой уж и старый, как ему показалось сначала, и даже совсем не старый, а молодой, как его, Кешин, отец, и такой же веселый. И солдаты теперь тоже весело начали привставать, подниматься и, что-то говоря, побежали к фанере, окружили ее, подняли, и Кеша увидел эту фанеру с дырками; с одной стороны дырки были гладкие и аккуратные, а с другой вся фанера была искромсана, изодрана пулями, которые, пробив ее, ввинтились в старую липу, впились в древесину и угомонились там навечно.

И в воздухе теперь запахло чем-то незнакомым и волнующе острым.

Командир спрятал пистолет в кирзовую кобуру и долго застегивал клапан, никак не попадая дырочкой на шпенек застежки. А солдаты поднесли к нему фанеру, и Кеша услышал, как кто-то из них сказал в задоре:

— Все тут, товарищ лейтенант! Как в копеечку!

Лейтенант, мельком взглянув на фанеру, хмуро усмехнулся.

— В копеечку! Скажешь тоже... Вон как разбро-

сал.— А потом сказал угрюмо и, как показалось Кеше, слишком тихо: — Слушай мою команду: в колонну стройся!

Солдаты быстро построились, одергивая гимнастерки, подпоясанные брезентовыми ремнями, и замерли смирно, а потом как-то упрямо и старательно зашагали, затоптались на месте; первые пошли, а за ними потянулись и все, закачались из стороны в сторону, равняя шаг и подстраиваясь под шаги друг друга, а командир крикнул солдатам:

— Шире шаг!

Когда они проходили мимо одуревшего от счастья, притаившегося около липы Кеши, боец, который шел последним в замыкающей колонну шеренге, посмотрел на него с озорством и подмигнул, как другу. А потом еще раз, уже оглядываясь, весело посмотрел на Кешу. Лицо у солдата было щекастое, плотное, с бурыми какими-то губами и резкими глазками, которые смеялись, увязнув в этом прочно сбитом лице.

Кеша ему тоже улыбнулся и пошевелил во рту пересохшим языком, словно пытаясь что-то сказать солдату, но что и как сказать — не успел еще догадаться. Он был потрясен увиденным, и первое, что ощутил, было сомнение — поверят ли ему, когда он станет рассказывать ребятам об этом. Да и будут ли слушать? Неужели никто не поверит?

Вдруг он вспомнил о медных гильзах, которые с каждым выстрелом выпрыгивали из пистолета, и, вспомнив, кинулся на лужок, где только что стоял лейтенант, и сразу же увидел в невысокой путаной траве желтый, упруго и масляннисто блестящий на солнце цилиндрик. Он схватил короткую эту гильзу, и она ему показалась теплой. На внутренних стенках был еще виден серый налет сгоревшего пороха. Кеша понюхал сероватое нутро и почувствовал вдруг приятную и резкую вонь, исходящую из таинственного отверстия, в глубине которого совсем недавно еще был порох, и не разбитый бойком капсюль ждал, притаившись, своей минуты, чтобы взорвать порох и вытолкнуть крутолобую пулю... Теперь эта желтая гильза была все равно что скелет ядовитого чудовища — жалкие его останки. Резкая вмятина на капсюле и чуть заметные вдавлинки на горлышке гильзы, которые совсем еще недавно надежно удерживали тяжелую пулю... Теперь — ни капсюля, ни пороха, ни пули. Только в памяти резкий треск выстрела и дымная стрела из дула. А в руках ске-

лет давным-давно умершего ядозуба, панцирь некогда живого существа, способного нести всему живому смерть и только смерть.

Кеша это чувствовал подсознательно, испытывая душевный трепет и какое-то странное, но знакомое всем мальчишкам благоговение перед этим пустотелым предметом, в котором только что была заключена страшная сила. И не кто-нибудь, а именно он, Кеша Казарин, стал свидетелем, как из этой теперь уже пустой гильзы вырвалась недавно осатанелая пуля и, пробив кусок фанеры, впилась и ушла в дерево. Для него это теперь не просто гильза была, а реальное свидетельство первого в жизни выстрела, который Кеша сам видел и слышал, а потому и отношение к пустотелому, непривычно пахнущему предмету было восторженное, но сложное, словно он прикоснулся к чему-то, что своей властью способно карать или миловать человека. Испытывая это очень сложное чувство, он думал только о том, что теперь никогда и ни за что не расстанется с этой новенькой гильзой, или, как он называл ее, с этим «новеньким патрончиком», зная, что ему в это утро чертовски повезло.

Когда Кеша подходил к дому, он увидел ребят, окруживших грузовую полуторку, в кузове которой возвышалось что-то металлическое и защитно-зеленое. Полуторка, тоже защитно-зеленая, стояла неподалеку от футбольного поля на краю дороги, которая вела в село.

Своими защитно-слепыми фарами, торчащими по бокам радиатора, она смотрела на Кешу, поблескивая плоским ветровым стеклом под козыречком, коротеньким и лихим, как у кепочки-малокозырки. И Кеше показалось, что этот грузовой автомобиль имел свое какое-то выражение лица.

Это был военный автомобиль, а в его кузове стоял счетверенный зенитный пулемет, нацеленный в небо.

Кеша, забыв о гильзе, зачарованно смотрел на невиданное чудо, на ленты, свисающие из каждого пулемета, и на большие острые патроны в этих лентах, которые раньше он видел только в кино или на картинках, и на бойца, который, нахохлившись, сидел в одиночестве около пулемета и равнодушно поглядывал по сторонам.

Прицел, как лесная паутина, возвышался над пулеметами, и из каждого пулемета хищно торчали короткие окончания стволов, скрытых под охладительными кожухами.

И все это было настоящее!

Кеша подошел вплотную к машине и, забывшись, прислонился к крашеным доскам кузова, чтобы быть еще ближе к этому хмурому, тускло-зеленому пулемету, к этим лентам, набитым новенькими, чистенькими патронами...

— Эй, пацан,— сказал солдат,— отойди от машины! Чего не видел?

«Как же он так может говорить? — подумал удивленно Кеша.— Чего не видел? Ничего я не видел. Никогда! Надо же посмотреть!»

— Слышал, чего я сказал! — повторил солдат с угрозой.

Машина пахла свежей краской и была тоже новенькой, как и пулемет, установленный в кузове, как маслянисто-желтые патроны с медными остриями пуль и как сам солдат, в новой, не обмятой еще шинели, который, засунув руки в большие карманы, гнал Кешу от машины.

— Ребята,— сказал Кеша удивленно и радостно.— Войска пришли! Везде войска! И там тоже...

Все застенчиво как-то засмеялись, а Гыра сказал:

— Очухался!

Ребята, испытывая, видимо, какую-то неловкость перед возвышающимся над ними бойцом, засмеялись опять неохотно и недружно, словно сознавая важность всего, что происходило на вытоптанной ими, исхоженной и избеганной, милой земле.

Глава 14

Все-таки осень есть осень. Погода резко испортилась, наступили хмурые, ветреные холода, и из Москвы стали приходить в интернат посылки с теплыми вещами. Одежки эти были поношенные и потертые, и пахло от них давно забытым домашним шкафом, нафталинчиком, теплым осенним уютом московского дома. И некоторые плакали, получая посылки, потому что, когда было лето, домой не хотелось, а теперь, в предзимние эти холода, теплая одежда, туго закатанная, зашитая аккуратно в белую простыню, на которой чернильным карандашом — адрес и очень четко и ясно, чтоб не ошиблись, фамилия и имя,— зимние эти пальто, шубейки, подшитые валенки, ботики, меховые шапки, варежки — все это с неумолимой жестокостью говорило о бездомной зиме, о затянувшейся «лагерной» жизни и о том, что надеяться на скорое возвращение домой нельзя. Придется, видимо, зимовать в классных комнатах школы.

Кеша, когда распорол суровые нитки своей посылки, развернул и расправил зимнее пальто из коричневого бобрика, с воротником цвета высохшего табака, вспомнил вдруг тот прошлогодний осенний день, когда они с мамой ходили в магазин покупать это пальто. Вспомнил, как вышел он впервые в новом тогда пальто во двор. Было снежно в тот день. Лохматый, тихий снег опускался всюду и везде, и скоро воротник совсем побелел и плечи тоже. А ребята, увидев на Кеше новое пальто, закричали: «Обновить! Обновить!» — сбили Кешу с ног, изваляли его в снегу так, что пальто словно бы мелом измазали. Но снег был таким чистым, что от него и следов не осталось. Только остался в памяти тот морозный и снежный день в уютном московском дворике, один из первых дней прошлой зимы, когда на него навалились ребята и долго валяли в первом снегу. Это были свои ребята, без которых он просто не мог раньше жить и которые тоже не могли без него. «Выходи гулять!» — кричали они, и он тоже кричал: «Выходи гулять!» — если был во дворе один. И два старых клена... И садик под окнами старика Башаева, и белые голуби, которых гонял неразговорчивый и далекий в своем старшинстве и превосходстве над всеми Минька Кожемякин, часто ругавшийся со своей матерью из-за этих голубей. Ребята боялись Миньки, потому что его даже и собственная мать побаивалась.

Теперь от пальто исходил полузабытый запах нафталина, запах, который здесь, далеко от дома, был так приятен, что даже голова туманилась от него, и все прошлое хорошо припоминалось, даже какие-то маленькие черточки прошлого, до слез пронзительные и ясные. Новые тетрадки с пахучей бумагой, которые Кеша любил начинать, сизые обложки этих тетрадей с таблицей умножения, прозрачные нити линеек или клеточек на вощеной странице и перышко номер восемьдесят шесть, бронзовато-тусклое и очень чувствительное, которым можно было провести тончайшую линию и сделать упругий нажим... Всякий раз, когда Кеша начинал новую тетрадку, ему казалось, что здесь, на страницах этой чудесной, чистой и очень приятно пахнущей тетради, он не сделает ни одной ошибки, словно бы он не тетрадку, а новую жизнь начинал, отрекаясь от старой, в которой было великое множество ошибок и неверных шагов. И запах школы, и голос учительницы, четко выговаривающей слова диктанта, и вечерний вопрос отца: «Сыграем в шахматы?»

Это были хорошие вечера. Лучше тех вечеров никогда

ничего не будет. Лишь бы дожить опять до тех неправдоподобных вечеров и услышать опять вопрос отца: «Сыграем в шахматы?» Только и всего.

Если бы у него спросили, что такое счастье, он бы, не колеблясь, ответил, что счастье — это когда все дома, когда в комнате тепло и горит яркий электрический свет, на столе белая скатерть и мамины цветы в вазочке, а отец в белой рубашке спрашивает: «Сыграем в шахматы?»

...Он держал в руках свое пальто, от которого нежно и заманчиво пахло нафталином, и ему было радостно сознавать, что все эти вещи: пальто, валенки, ботики, теплая рубашка, шапка и варежки — совсем недавно висели и лежали в московской комнате, что они совсем еще недавно были вынуты из шкафа, который, конечно, стоит, как и раньше, в правом углу комнаты. И какое-то странное чувство овладело им: словно бы он до сих пор сомневался, было ли это когда-нибудь — теплая комната, а в ней только мама, отец и он, двор с двумя огромными кленами, которые осенью желтели, и вся земля тогда, все крыши домов и сараев становились прозрачно-желтыми и душистыми от опавших холодных листьев, и дворник сметал эти листья в золотистую копну. А кто-нибудь из ребят кричал: «Выходи гулять!» Было ли это?

Ему хотелось улыбнуться, и он с незнакомой доселе нежностью и какой-то радостной удивленностью ощупывал свои вещи, приехавшие к нему прямо из Москвы.

Ему даже жалко стало Гыру, которому пока ничего еще не прислали и который, конечно же, ждал посылку, хотя и старался показать, что ему все равно — пришлют или нет.

Однажды все-таки Гыра вошел в комнату со свертком, обтянутым серой мешковиной и, бросив его на топчан, сказал с показным бодрячеством:

— Майн мутер теплые кальсоны прислала...

Он был бледный и встревоженный в этот день и не притрагивался к посылке, словно бы не решаясь распаковать ее.

Но вечером, когда ребята разбирали постели и в тусклом свете керосиновой лампы стало уже скучно в комнате, Гыра вдруг хлопнул себя по животу и воскликнул так, точно он и в самом деле совсем забыл о посылке из Москвы:

— А моя-то! Посылку прислала...

Вспорол ее ножиком, бросив мешковину на топчан, и,

посмеиваясь, развернул измятое черное осеннее пальто с потертыми рукавами.

— Это тулуп,— сказал Гыра и тоже бросил на топчан.

Достал поношенную меховую шапку и нахлобучил себе на лоб.

— Это ботинки с галошами. Ладно, дырку заклеим... Это шарф... Так. А это? Это сушки... забыла, что я бублики люблю.

С какой-то озлобленностью Гыра сунул мешочек с сушками себе под подушку.

— Все! — сказал он.— Вместо варежек и носков — дырки от сушек. У кого какие вопросы?

— Проживем! — сказал Японец, щуря глазки.— Была бы шамовка. Чтой-то сушечки хочется...— И засмеялся.

— А шелобанчик между глаз?

— Не-а,— смеясь, отвечал Японец.

Глуповатый и слабый мальчишка, никогда и ни на что не обижавшийся, с тех пор как нашел покровителя в лице Гыры, заделавшись чем-то вроде шута при нем, обнаглел изрядно, и в голосишке его все чаще стала слышна задиристая и хамоватая нотка.

— А ты поменяйся,— говорил Японец все с той же прищуристой усмешечкой.— Ты ему дырки от сушек, а он тебе варежки...— и поглядывал в сторону Кеши Казарина.

А Кеша подумал, что Гыра может запросто обтяпать и это темное дельце. И при такой мысли становилось ему тоскливо и словно бы даже неловко перед Гырой, которому ничего хорошего не прислала мать, а вот ему... Чего только не было в посылке! Даже конфеты в карманах пальто.

— Шелобанчик хочешь? — спросил опять Гыра.

— Не-а,— игриво отвечал Японец.

— Дай сюда лоб!

— Не-е, Гыра... не надо... Я ж не хочу.

— Дай, говорят.

И Японец, привыкший уже к подобным капризам своего господина и знавший, что лучше с ним согласиться сразу, чем потом, когда Гыра разозлится, зажмурился, стиснул свои зубки и подставился для шелобана.

Гыра оттянул и заложил средний свой палец за большой и коротким размахом руки резко и хлестко щелкнул Японца по лбу. Оставшись довольным, видя, как тот потирает лоб и от боли посипывает сквозь зубы, он приподнялся, повернулся к нему задом, натянул брюки на зади-

це и издал звуки, похожие на трусливое собачье взлаивание. И засмеялся, окончательно удовлетворенный.

Кто-то тоже громко засмеялся, кто-то смущенно всхохотнул, а потом ребята в неловком молчании стали расходиться по своим местам, и сонная скука снова повисла в комнате.

Кеша знал или, вернее, догадывался, что Гыра и его штучки противны не только ему одному, что есть среди ребят такие, которые тоже, как и он, готовы вот сейчас хорошенько вмазать Гыре по уху... Но почему-то они, как и он, молчали, словно это их не касалось. Тот же Валька Юсупов, хороший и умный парень с задумчивыми глазами, сидит у лампы и читает «Гулливера», не замечая ничего вокруг. Может, и правда не замечает? Противно, черт возьми!

«Выходи гулять!» — услышал он в подкравшейся к нему отрешенности... И увидел в пасмурном небе желтые клены, от которых солнечно бывало даже в осенние свинцовые непогоды. А весной, когда распускались листья, клены стояли взъерошенные, тяжелые и колючие. Всегда их связывала бельевая веревка, и всегда что-нибудь сушилось на этой веревке, если не было дождя, и даже зимой гремели на ней промороженные простыни и наволочки.

Почему-то ему виделись именно эти осенние, пронзительно-желтые клены, вознесшиеся над крышами домов, а в синем небе Минькины белые голуби. Прохладные листья кленов! Он даже запах их слышал в душной комнате, привалившись на своем топчане возле горячей печки.

«Ты помнишь Миньку Кожемякина? — писала ему мама.— Его взяли на фронт».

«А как же голуби?» — подумал Кеша.

Кеша, конечно, не знал и не мог знать, что Минька сам, уходя из дому, зашел в последний раз на голубятню и, беря в руки доверчивых своих голубей, зажимал тонкую шейку каждого из них между пальцами и, бледнея, резко встряхивал рукой... Голубиная головка оставалась в пальцах, а тушка, взмахивая судорожно крылышками, грохалась на пол голубятни и затихала. Мать, ходившая за ним в тот день по пятам, плакала и говорила: «Минечка, милый мой, зачем же ты это делаешь?» Не знал Кеша и того, что, когда он читал мамино письмо, уже не было в живых и самого Миньки Кожемякина. Впрочем, об этом тогда не знала даже Минькина мать, не ведала, что сын ее, не доехав до Ленинградского фронта,

был убит наповал большим осколком авиабомбы, когда немцы налетели на эшелон... Ему по какой-то жуткой и мистической случайности снесло осколком череп... А Минькина мать, узнав об этом из письма товарища, хоронившего Миньку, поседела от ужаса и стала похаживать в церковь, хотя раньше и дороги туда не знала... А товарищ-то писал из простого сострадания к матери, чтобы хоть как-то смягчить ее горе, чтоб знала она, что сын ее и понять ничего не успел, не мучился, а сразу — дескать, легкая была смерть.

Но ничего этого Кеша еще не знал. Теперь он подумал лишь о голубях и вспомнил, как однажды Минька, увидев из окна «чужого», в азарте закричал ему вдруг: «Взгони голубей! Взгони!»

Кеша подбежал к сараю, по крыше которого расхаживали голуби, взмахнул руками, запрыгал, стал шуметь, а голуби насторожились и вдруг все разом затрещали крыльями и унеслись в небо, а от ветра в воздухе закружились белые легкие пушинки.

Минька больше всего ненавидел сокола, жившего на высоченном здании института, где-то на его крыше. Этот сокол-сапсан сбил двух голубей, и Минька лазил тогда по пожарной лестнице на крышу института, искал его гнездо, но так и не нашел. Сапсан продолжал неожиданно появляться из-за крыш и нападать на Минькиных голубей.

Кеша с дремотной улыбкой лежал на своем топчане и тихо радовался сейчас, что Минька так и не нашел тогда гнезда на крыше иститута. Ну а если бы и нашел? Сапсана-то все равно бы ему не поймать. Быстрокрылого и храброго соколенка!

Ему было хорошо вспоминать о кленах, о голубях, о сапсане, и он так далеко ушел из душной комнаты, что и не заметил, как задремал.

Глава 15

Глаша пришла в этот вечер, как и всегда, после ужина. Повариха поставила перед ней полную миску теплой, разварившейся картошки с требухой, положила большой кусок хлеба и толстый соленый огурец.

— Ешь,— сказала она,— и ни о чем не спрашивай. Скоро сама все узнаешь.

Это было так странно и неожиданно, что Глаша удержаться от вопроса не смогла и с тревогой в голосе спросила шепотом:

— О чем?
— Как о чем?
— Не спрашивать о чем? Что-нибудь случилось?
— Молчи и ешь,— хмуро отвечала повариха.
Глаша улыбнулась и сказала:
— Что-то даже страшио. Страшно вы говорите, тетя Нюр.
— Ты начальницу видела?
— Вернулась она?
— Приехала.
— Что же? Плохие новости? Что там? Москва? Да? Москва?
— Торопись, Глаша, торопись,— говорила повариха.— Ночь сегодня такая будет! Ночь будет, что и присесть не сможешь. Москва стоит пока, не волпуйся... Москва стоит. Ты за Москву не волнуйся... Ребята-то спят? Не заметила?
— Младшие спят,— упавшим голосом ответила Глаша.— Дождь. Да и старшие, наверно... А где Лидия Федоровна?
— У себя. И все там. Ну вот что я скажу тебе: мы завтра утром уезжаем отсюда. Поняла? Гонят нас всех куда-то на Урал. Лидия Федоровна распоряжается, чтоб к утру все вещи, всё подготовить. Всю ночь стирать будем, чтоб ни одной грязиой простыии, ничего чтоб с собой грязного не везти... Пусть, говорит, сырое, но чистое. В дороге высохнет... Что-то я сама не пойму, к чему такая спешка? Поезд, говорят, ждет нас на станции, в Кораблине. Эшелон. Все интернаты... Не только наш. Все до одного! Жили не тужили. А теперь-то на зиму глядя! Ты ешь! Тебе это больше, чем кому другому, надо... Ешь!
На выскобленном, тускло освещенном керосиновой лампой деревянном столе, на котором стояла еда, Глаша машинально прочла ставшие уже привычными полустертые буквы.
«К плюс Л,— подумала она,— равняется... любовь... конечно».
И она удивилась вдруг, что раньше никогда и не старалась понять глубокий смысл этих букв, хотя, несомненно, ей и раньше было ясно, что значили эти буквы. А в это мгновение она вдруг с удивлением, будто все это было чрезвычайно важно, подумала, что кто-то из ребят, из старшей, конечно, группы, кто-то из повзрослевших до поры мальчишек влюблен в какую-то девочку. И все зиают, кроме нее, Глаши, что некий К любит некую Л... Странно!

— А ребята знают? — спроснла она у поварнхи, которая уселась напротив.

— И не догадываются. Смотри не проболтайся,— ответила та шепотом.

— Ну что вы! Господи. А вкусно-то как,— похвалила вдруг Глаша и, смущенно улыбаясь, с жадностью стала есть, забыв обо всем.

Повариха сидела напротнв и молча наблюдала, как ела молодая беременная женщина, сидящая боком к столу.

— Чаю принестн? Или потом? — спросила она только однажды.

— Потом, тетя Нюра. Я сама потом. Такой вкусной картошки я и не ела никогда... с требухой! Я и дома никогда не ела... Не знала, что такая вкусная.

— Хочешь еще?

— Неудобно, тетя Нюр.

Но повариха взяла миску и ушла к печи, наскребла в котле картошки, а потом черпаком достала из кастрюлн духовитой требухи.

— Ешь,— сказала она с улыбкой.— Сегодня ночью всех буду кормить. Сегодня ночь тяжелая будет. Лидия Федоровна распорядилась...— И она шепотом добавила:— Всем нам даже спиртику... у фельдшерицы велела взять. Вот только тебе-то нельзя! Ох, не нравится мне все это! Неужели отдадут?

Глаша чуть не подавилась, когда услышала это, потому что ей только теперь вдруг понятна стала срочная необходимость спасти детей. Только теперь она осознала опасность.

— Тетя Нюра! — сказала она с придыханием.— Ну не может этого быть! Вы что?!

— Чего это не может? — спросила повариха.

— Чтоб Москву...

— А разве я о Москве? Ты ешь и помалкнвай! Я и не думала о Москве. Ты брюхом слушай, а не ухом... Вкусная, говоришь? Вот и ешь за двоих. Только не объешься с непривычки! Больше не дам.

Повариха с каким-то неожиданным раздражением чуть лн не вырвала у Глаши миску, которую та не успела как следует выскрести, н с дребезгом бросила в грязную посуду.

— Тебе сегодня мыть! — сказала она.— Чего полегче, то и тебе. Мы белье стирать будем. Я и воду кипячу — целый котел. Прачечная вместо кухни.

— А я смотрю,— сказала с внноватостью Глаша,—

окна запотели... Спасибо вам, тетя Нюра. Что ж теперь будет-то, тетя Нюра?

— На здоровье. Поди-ка покажись Лидии Федоровне. Может, работу какую тебе сама подыщет. Это я так решила — насчет посуды... Иди, иди... Да и за Зойкой моей пригляди, пожалуйста, Зойка моя чего-то весь день куксилась. Не заболела бы... Не ангина ли, не дай бог!

Старая повариха была бабушкой, и у нее в интернате в младшей группе жила внучка, которая училась во втором классе и ради которой она, старая, собственно, и согласилась стать поварихой в интернате и покинуть в июне месяце Москву. Если бы не Зойка, она, конечно, осталась бы в Москве и никто не уговорил бы ее уехать. Рыла бы вместе с другими оборонительные рвы и окопы и думать не думала бы об Урале, о далеких тылах, о деревенской заманчивой сытости и покое... А рыжая Зойка заставила сняться с обжитого места и теперь вот ехать опять неведомо куда на зиму глядя. Ох, Зойка, Зойка! Хоть бы здорова была и не подхватила простуду перед дорогой. Какую-нибудь ангину с температурой, не дай бог! Две девчонки и так уж лежат у фельдшерихи в комнате с ангиной... Но те постарше. А ты совсем еще крошка. Не болей, Зойка. Сделай так, чтоб бабушке было спокойно. Господи, сделай так, чтобы не заболела Зойка перед дорогой! Сделай так, господи! Никто же ведь не знает, когда доберемся и куда приедем, как устроимся, где, в каких краях, в каком далеке...

— Тетя Нюр,— сказала Глаша все с той же виноватостью и робостью,— может, мне не уезжать никуда? Очень я чего-то боюсь! Вдруг в дороге придется? Страшно чего-то мне.

Повариха посмотрела на ее живот и вздохнула.

— Иди к Лидии Федоровне,— сказала она,— посоветуйся.

Но Глаша не сразу пошла к начальнице. А сначала — в комнату, где спал в темноте ее сын, и долго просидела там, не в силах сдержать слезы. Ей было легко сидеть в кромешной тьме теплой комнаты возле натопленной торфом обжигающей печи и бездумно плакать или, вернее, просто не сдерживать легкие и горькие обильные слезы, которые, словно бы накопившись за долгое время, текли и текли из самой души. Ни звука, ни всхлипа не проронила Глаша, и только дыхание ее было неровным и судорожным, как если бы ее бил озноб.

«Плохо,— думала она,— ох, плохо, плохо... Ах, беда! И ничего не поделаешь, ничего...»

И она звала мысленно своего мужа, от которого ни слуху ни духу, звала его на помощь, и слезы ее, не иссякая, легкой своей солоноватостью и теплотой мочили губы, подбородок и нос.

Только чей-то сонный и негромкий стон или мычание, раздавшееся в темноте комнаты, заставило ее встрепенуться и утереть слезы.

За окном был слышен дождик, и хорошо было слышно, как гулял ветер. «Может, разгонит к утру,— подумала Глаша.— Может, переменится».

Глава 16

В те предзимние дни положение на фронтах складывалось таким печальным для нас образом, что с 20 октября Москва была объявлена на осадном положении.

В интернате об этом знали далеко не все, а если и знали некоторые, то не совсем ясно представляли себе, что означало это «осадное положение». Но состояние общей тревоги, предчувствие какой-то ужасной и непоправимой беды коснулось всех от мала до велика.

Под Тулой наши войска, сдерживая натиск танковой армии Гудериана, в конце концов остановили в октябре месяце ее наступательное движение, создав тем самым устойчивое положение на левом крыле Западного фронта. Но армия Гудериана, эта наиболее агрессивная и мобильная ударная группировка, была еще сильна, несмотря на большие потери, и готовилась к ноябрьскому наступлению.

Танковые группы генералов Готта и Хюпнера развернулись в районе Волоколамска и к северу до Московского моря, рассчитывая нанести удар на Москву с северо-запада. Танковой же армии Гудериана была поставлена задача прорваться из района Тулы к Кашире, Рязани и Серпухову и соединиться с войсками северной группировки, сомкнув тем самым кольцо окружения к востоку от Москвы, в районе Ногинска.

Трудно сказать, бойцы какой именно армии, корпуса или дивизии были дислоцированы в те осенние дни в Незнанове. Да и не в этом дело. Дело в том, что, когда наступили октябрьские непогоды, все ребята и женщины из интерната, проснувшись однажды утром, не увидели ставших уже привычными бойцов, словно их никогда и не было в селе.

Бойцы исчезли бесследно, а в души оставшихся там людей закралась тоскливая и незнакомая доселе тревога, будто бы вдруг потеряна была какая-то надежда, утрачена связь с внешним миром, будто пустынно стало вокруг и подозрительно тихо — слишком тихо! — хотя теперь все знали отлично, что там, на западе, за равнинами, совсем уже близко творилось что-то жуткое и страшное...

И в эту неведомую жуть ушли мужчины, оставив детей и женщин средн равнин под дождями и холодным ветром...

Ввиду серьезности обстановки, которая сложилась в те дни, люди, ответственные за эвакуацию детей, приняли на каком-то своем заседании решенне в срочном порядке переправить интернаты из Рязанской области дальше на восток, в безопасные районы Урала. Были выделены эшелоны, солдатские «теплушки», которые потянулись из осени в зиму, пропуская на узловых станциях встречные воинские эшелоны с танками, пушками и бойцами, которые из морозной и белой зимы торопились и торопились в осень, в бесснежные еще и мрачные, тревожные края нашей исстрадавшейся земли.

Глава 17

Кеша Казарин, который так и уснул, не раздеваясь, вдруг очнулся среди ночи в горячем и липком поту. Подушка, до отвращения теплая и сырая, казалось, душила его.

В комнате все спали, было темно. Кеша тихо разделся, обтерся мокрой майкой и, перевернув подушку, улегся, не накрываясь одеялом.

Что-то уж очень жарко и душно было в комнате в эту ночь. Печь светлела рядом, и от нее струился сухой и обжигающий жар.

Кеша чувствовал, что если он сейчас не сумеет уснуть, то не выдержит этой пытки и, превозмогая лень, поднимется все-таки и в одних трусах выйдет на улнцу, на холод и дождь. И это ему представлялось каким-то блаженством, как купание в знойный день. Вот только бы побороть ужасную дремотную лень и слабость.

Он лежал и прислушивался к шуму дождя и представлял себе, как холодные и колючие дождинки вонзаются в его разгоряченное, потное тело, как весь он зябко и счастливо ежится и, остуженный, продрогшнй, бежит опять в теплую комнату к горячей печи и прячется под одеялом, согреваясь.

«Конечно, можно и простудиться,— думал он,— можно

и заболеть, и тогда...» Его перевели бы тогда на время в комнату к врачу Клавдии Васильевне. Представить себе это было жутковато и сладко, потому что там уже лежали Лариса Белякова и еще какая-то девчонка... И все-таки это было бы хорошо.

И, забываясь опять в дремоте, он старался представить себе, как удивилась бы и испугалась Лариса, увидев его рядом с собой, на соседнем топчане. А он бы лежал на спине и весь день и ночь прислушивался, как тихо дышит Лариса... А потом ему было бы все хуже и хуже: у него началось воспаление легких, а она бы выздоровела, и ей уже разрешили вставать с постели. И она бы тогда, конечно... что бы она? Ей стало бы жалко смотреть, как он умирает, и она страдала бы и мучилась. Или нет! Он долго бы, долго болел, и она тоже, а девчонка выздоровела. Они бы остались вдвоем, и он однажды сказал бы ей: «Помнишь, как ты говорила мне, что мы с тобой поженимся? Значит, ты все наврала мне?» А она бы сказала: «Нет, Кеша, я притворяюсь. Я все помню и очень тебя люблю, все время думаю о тебе, а для всех других притворяюсь...»

Она бы спрыгнула с кровати и быстро-быстро поцеловала его, пока Клавдии Васильевны не было в комнате.

А вдруг бы Гыра заглянул в это время?

И лишь только Кеша подумал об этом, сон его, или, вернее, полудрема, в которой было очень легко представлять себе невозможное, отхлынул и вернул его в душную, черную комнату. Но ненадолго, потому что, отогнав видение, Кеша опять подумал о том, как он сейчас вот встанет с постели, и, разгоряченный, выбежит под холодный и хлесткий дождь с ветром, и будет стоять на крыльце, пока не продрогнет до костей. И может быть, завтра уже поднимется температура и больно будет глотать... Придет Клавдия Васильевна и распорядится, чтобы его перевели в изолятор. А Лариса, узнав об этом, испугается и начнет причитать: «Что же это, Клавдия Васильевна, как же это?! Мы ведь девочки, а он мальчишка!»

«Дети вы! — скажет Клавдия Васильевна.— Больные дети, и всё!»

«Да это же про нас с ним пишут на столах и на стенах, что мы любим друг друга!» — скажет Лариса.

«Ах, про вас! Так это правда? Ты любишь его?» — спросит Клавдия Васильевна.

Кеша, который словно бы сам превратился не только в участника, но и в свидетеля этого полусна-полуреальности, все ждал и ждал, присутствуя при этом разговоре и наблю-

дая за Ларисой, что же она ответит на вопрос Клавдии Васильевны. Он боялся ее ответа, хотя и с нетерпением вслушивался, ловя выражение ее глаз. И вдруг она сказала: «Нет».

Но он-то знал, что она нарочно притворяется, потому что все уже объяснила ему раньше — они договорились, что если она скажет «нет», это будет означать «да». И было очень приятно от сознания того, что у них есть своя великая и нежная тайна, о которой никто и не догадывается — только они вдвоем знают, потому что еще давным-давно условились об этой заманчивой и такой хорошей игре, от которой просто смеяться хочется и все время радоваться... и даже прыгать от радости... Он подпрыгнул и полетел, сначала просто раскинув руки, а потом, чувствуя упругость воздуха, стал взмахивать руками и подниматься все выше и выше. И летел уже над институтом, где жил сокол-сапсан, а Лариса спрашивала с удивлением: «Как это ты летаешь?» А он смеялся и отвечал: «Да очень просто! Подпрыгни и руки расставь. И все!» Но у нее не получилось...

Впрочем, человек всегда летает по ночам один. И никто другой не в силах тогда этого сделать, кроме него. Эти очень счастливые сны лучше и ярче других запоминаются, радуют и смущают реальностью ощущений полета и высоты. Может быть, это оживает в людях память доисторических предков? Каких-нибудь крылатых птеродактилей? Напоминают о себе утраченные наши возможности? Или только так способен человек полностью ощутить материализованную свою радость? Свое нестерпимое и неземное, как говорят люди, счастье...

Кеша в эту ночь летал, потому что в хитросплетениях сна ему выпали на долю радость и счастье быть любимым.

Глава 18

Позднее утро в Незнанове было по-зимнему ясным и холодным, и ранний снежок, который перемежался ночью с дождем, жидко и робко белел в зеленой еще траве, но лужи замерзнуть не успели, как не успел растаять и этот первый хилый и мокрый снег. В природе происходила борьба тепла и холода. Солнце, которое вдруг ярко выкатывалось из-за темных облаков, пригревало землю, но тот необратимый холод, который пронизывал воздух, землю и лужи на земле, казалось, уже не даст растаять снегу, облепившему траву.

Воздух был чист, а упругий, холодный ветер словно бы

заливал всю округу каким-то снежным, весенним половодьем, наполняя все свежестью и небывалой еще в этих краях снеговой прохладой.

Дорога была вся мокрая и слякотная. И вся земля блестела под солнцем своей остывшей, осенней, недвижимой мокрядью.

Ничто больше не журчало под солнцем на этой земле, не бежало, не струилось, не рассыпалось искрами — все замерло, словно покрылось холодной испариной, словно ресницы умирающей земли были заморожены уже снегом и замутились глаза, стекленея в умирании... Мрачно серела среди лиловых деревьев подмокшая за ночь, полуразрушенная церковь на холме. Все листья с деревьев были уже на земле, и издалека казалось, что кто-то добрый и снисходительный к людям специально подкрасил желтизной и густой охрой землю вокруг серой церкви и лиловых деревьев, чтобы хоть как-то оживить картину. Пего вокруг было и неприютно. Темные, сизые облака, битком набитые мокрым снегом, тяжелые, но безобидные, пролетали низко над землей, как самолеты на бреющем, закрывали солнце, топча своим мраком землю, а потом вдруг солнце бежало за четкой границей тени, скользившей по обтрепанной скудной и нищенски одетой земле.

Кеша Казарин сидел на ступеньке отсыревшего крыльца и, когда солнце задерживалось в ясном небе над землей, принюхивался к бражному запаху испарины, исходившей от сырых деревянных ступенек. Солнце согревало его, а запах согретого влажного дерева тревожил, как будто он впервые в своей жизни обрел такое острое и чувствительное, ничем не заглушенное обоняние. Он слышал, как пахнет снег в спутанной зеленой траве, и как пахнет сама эта подмороженная, тоже согреваемая скудным солнышком, мокрая трава, и как пахнут далекие отсюда, но хорошо видные и словно бы осязаемые на расстоянии желтые листья под лиловыми липами, и как пахнет кора голых лип.

Это было странное и необычное состояние, словно он после ночного и легкого полета обрел способность не только ощущать себя невесомым, но и различать запахи, которыми была насыщена в это утро обнаженная перед зимой, мрачнеющая под тучами и вспыхивающая под солнцем холодная и теплая земля.

Это небывалая и таинственная обостренность всех чувств и ощущений рождала в Кеше смутную и неясную ему самому потребность быть лично причастным ко всему,

что творилось в это утро. Желание быть вместе со всеми, все понимать, и обо всем догадываться, и знать также, что все люди вокруг видят его и при этом сознают, что он тоже очень нужен в общей суете и спешке, что никто не забыл про него, все чувствуют его мужественное спокойствие и дивятся его самообладанию в это тревожное утро, когда усталые женщины, не спавшие ночь, сбились с ног, увязывая огромные тюки с вещами, одеялами и подушками. Желание быть вместе с ребятами и не оставаться одному было таким подавляюще сильным, что в душе его сработало вдруг какое-то тормозящее устройство, остепеняющее, охлаждающее его радостный и счастливый порыв,— уехать вместе со всеми хоть на край земли, лишь бы не зимовать в этом унылом и пегом краю.

Прошло всего два часа с тех пор, как его подняли сонного с постели, но он так устал за эти часы, обессиленный и выдохшийся, сидел теперь на пригретом крыльце и никак не мог понять, что ему надо делать, кому помогать, кого слушать, хотя с самого утра уже знал, что его, как и некоторых других ребят из старшей группы, тех, что покрепче, назначили ехать с вещами в том первом обозе, который скоро уже соберется и отправится, груженный вещами, на далекую отсюда и совсем незнакомую станцию.

— Под вашу ответственность, ребята,— говорила им Лидия Федоровна.— Вы уже взрослые люди. Все вещи интерната под вашу личную ответственность. Я доверяю вам.

А Гыру не взяли. Он просился, но его не отпустила Анна Сергеевна, потому что ей тоже нужна была помощь, чтобы успеть все подготовить к отъезду ребят и ничего не забыть.

— Не канючь! — прикрикнула на него Анна Сергеевна.— Справятся и без тебя. Разбойников тут на дорогах нет.

Гыра посерел весь от отчаяния, и казалось, что у него пропал всякий интерес к тому, что происходило в это утро. Впрочем, быть может, он так возбужден был еще и потому, что нервная усталость сказалась и на нем. Он непривычно загнанно и отрешенно смотрел на все, что творилось в интернате, молчал, облизывал пересыхающие губы и с трудом понимал Анну Сергеевну, ее распоряжения и просьбы.

Глава 19

Разные были на то причины у Женьки Соловьева, или, как его звали,— Гыры. Конечно, было обидно, что не взяли в первый обоз, словно бы не доверили, хотя рассудком он понимал, что старосте нужно быть вместе с Анной Сергеевной, у которой забот полон рот и которая, не сомкнувши за всю ночь глаз, устала безумно и изнервничалась. Все это он хорошо понимал и потому мирился со своим положением, завидуя, конечно, тем, кто поедет на станцию, сидя на тюках, как на высоком возу сена.

Но не эти причины были главными. Ему, как человеку рассудительному и расчетливому, совсем не улыбалась неожиданная перемена в жизни, тем более что не в тепло их везли, не к югу, а в холодные уральские края, где уже и теперь, наверное, трещат морозы, метут метели, а до весны так далеко, как до Москвы или до прошлой весны, когда никто и не думал о войне, а если и думал, то старался не верить в нее.

Ни Женька Соловьев, ни его мать о войне вообще никогда не думали, но сказать, что Женька жалел о тех прошлых днях или мечтал скорее дожить до той поры, когда снова вернется в Москву, было бы неверно.

Жили они с матерью и сестрой, которая умерла еще перед войной от дифтерита, так нескладно, безалаберно и скучно, что жизнь в интернате, где он каждый день бывал досыта накормлен, где у него была чистая постель,— жизнь эта была для него несравнимо богаче и приятнее той, которую он оставил.

Неряшливая и вечно угрюмая, некрасивая, с сальными, нечесаными волосами, малограмотная женщина, прожившая четыре года с каким-то случайным мужем, родила по дурости двоих детей от него, мальчика и девочку,— которые ей совсем ни к чему были, которых кормить приходилось и одевать; а с тех пор, как ушел от нее муж и исчез бесследно, она, так и не подобрев душою, не став матерью в истинном смысле этого слова, совсем возненавидела своих детей. Вся забота ее о них проявлялась в том лишь, что каждый день, уходя на работу, на какие-то свои промыслы (то она грузчицей на товарной станции работала, то уборщицей в пивной), она оставляла ребятишкам какую-то мелочь на обед. Денег этих хватало на хлеб и на две-три порции дешевого горохового супа, который Женька с сестрой покупали в ближайшей столовой, притаскивали в зеленой кастрюле с черным дном к себе в комнату

на первом этаже и, не разливая по тарелкам, набрасывались на него, черпая ложками прямо из кастрюли, торопились, чтобы побольше успеть съесть, мешая друг другу и ссорясь, и никогда эта скудная трапеза не проходила без слез сестренки, которой всегда доставалось меньше. А вечером в мрачную, всегда грязную комнату возвращалась усталая мать и, кинув на стол кусок хлеба и колбасы, делила на три части, не разрешая притрагиваться, пока она не согреет на кухне чай.

Впрочем, Женьке жилось лучше, чем сестренке. За день он обычно успевал «покусочничать» у ребят со двора, которые, вынося на улицу хлеб с маслом, с колбасой или сыром, не забывали и о Женьке...

Соседи жалели Соловьевых и помогали чем могли: кто рубашку какую-нибудь даст для Женьки, кто пальтишко старое для его сестры, кто ботинки, а кто носки, потому что знали натуру их матери и то, что в последнее время она частенько стала выпивать и приходила совсем поздно, идя по двору тяжелой, неровной походкой. На детей она теперь уже совсем не обращала внимания и, кажется, почти не горевала, когда умерла дочка.

Но Женькина жизнь не улучшилась после смерти сестры. Все тот же остывший суп из столовой, а вечером кусок дешевой колбасы, который делился теперь только на две части.

Нет, Гыра не мечтал о доме и о Москве! Ему и не снилась такая сытая и счастливая жизнь, которая наступила для него с тех пор, как началась война.

В этом смысле он не был похож на остальных ребят. У него была совершенно иная психика, и то, что большинству казалось естественным и нормальным, для Гыры порой являлось загадкой или пробуждало зависть и озлобленность.

Так было и с посылками из Москвы. Ребята, подвластные ему, боявшиеся его и заискивающие перед ним, получили из Москвы валенки, теплые носки и шубы на вате, ему же мать прислала барахлишко, которое никогда не покупалось специально для него в магазине, а которое соседи когда-то отдали донашивать, чтоб он из дому мог выйти зимой, чтобы в школу ходил и не замерз по дороге.

И когда он вдруг сообразил все это, увидев много каких-то теплых, крепких вещей, он с непривычной горечью и обидой подумал о матери. Впервые в жизни было больно задето его самолюбие, и он, задумавшись, почувство-

вал себя впервые за долгне месяцы жалким н иеуверенным среди ребят.

А то, что его ие взяли в обоз, только усугубило чувство уязвлениого самолюбия; где-то в глубине души копошились сомиения, лезли в голову какие-то темные мыслишки о том, что все это иеспроста было сделаио, что в обоз с вещами отобрали только тех ребят, которым прислали нз дому миого теплых вещей, а ему, которому иичего почти ие прислали, не доверили, потому что все догадались, как убого ои жил до войны.

«Хотя бы выпросила у кого-иибудь, дура,— думал он о матери.— Какие-нибудь старые валеики... Хоть какойнибудь шарф».

Ои ходил в это утро в потрепаиином своем пальтишке, надетом поверх рубашки с растерзаииым воротом, н ему было очеиь холодио. Нос его покрасиел, а лицо было желто-зелеиым и обескровлениым. Он с тревогой думал о будущем, о суровой зиме, о морозах там, иа Урале, куда нх увозили теперь. Это пугало его не иа шутку. И уезжал он из этих сравиительно теплых и уже обжитых мест, нз теплой комиаты, из своего уютного уголка без всякой, в отлнчие от других ребят, радости н счастливого возбуждения перед первой в жизин дальней и замаичивой дорогой. Никто нз ребят ие думал, ие хотел н не мог представить себе, куда и в какие края нх увозят, никто ие хотел н не мог в своей детской беспечиости вообразить себе то, что их ждет впереди. Для всех была важиа и нмела сейчас какой-то смысл только первая в жнзни дорога — пусть даже в иеизвестиость, но все-таки долгая и прекрасиая в своей изменчивости дорога. Никто из ребят н ие хотел заглядывать дальше этой дорогн.

И Гыра, пожалуй, едииствеиным был сейчас среди всех, кто думал не столько о дороге, сколько о том, куда нх в коице коицов привезут, где поселят, как будут кормить н будет ли так же тепло в том доме, где им прндется жнть. И если всегда н почти во всем ребята, с которыми пришлось ему жить, были поиятны ему н доступиы в своих проявлениях и ои прекрасио знал и чувствовал, как он должеи вести себя с иими, то теперь он просто не понимал той всеобщей радости и возбуждеиия, которые охватили ребят перед внезапиым отъездом.

«Взбесились, огольцы! — думал ои, все больше озлобляясь.— Как будто плохо тут жили, как будто кормили нас плохо... Вот поголодуют да померзиут, тогда узнают. Змен! Дать бы по рылу!»

Еще вчера ему казалось, что жизнь наконец-то наладилась и что есть у него место в этой жизни, и свой угол, и есть простой и короткий путь от голода к сытости, от усталости к отдыху — есть все то, что раньше представлялось ему несбыточным, а теперь задаром давалось без всяких просьб с его стороны. Еще вчера он чувствовал себя человеком, способным в этом уже привычном жизненном укладе подняться иад всеми, получая при этом какое-то пронзительно-острое, незнакомое доселе, волнующее и возбуждающее удовольствие, которое, как выигрыш, всякий раз привлекало его своей доступиостью. Еще вчера ои был доволен всем. И вдруг все это рухнуло. И только он один из всех понимал, что все уже развалилось, а впереди неизвестность...

«Взбесились, гады! — думал ои, мрачнея, когда слышал смех.— Разуть бы всех и пустить по морозу. И кормить один раз в день супом. Узнали бы!»

Нет, Гыра не слишком уж тяжело переживал то, что его не взяли в обоз. И, конечно, Кеша Казарин, думая так о нем, был далек от истины.

Кеша в блаженстве все еще сидел в своем теплом зимнем пальто иа порожке крыльца и с наслаждением принюхивался к запахам близкой зимы, к тем запахам, которые только весной так пьянят и будоражат... Да и поздней осенью, когда выпадет первый, непрочный и робкий снежок.

Эти запахи еще потому так отчетливо и остро были слышны, что его бобриковое пальто издавало нездешний запах давнишней жизни; запах, с которым всегда для него начиналась зима; запах, который вдруг здесь, далеко от дома, все воскресил в его памяти, все обновил и, придав бодрости, заставил поверить, что все еще может измениться в жизни. Ничего еще не замерзло, не устоялось — все впереди... Дорога впереди.

Никто из ребят не задумывался в это тревожное и радостное утро, почему их отправляют иа восток. Никто из них не знал, что немцы, остановленные под Тулой, уже готовились к решающему, как они считали, ноябрьскому наступлению на Москву, и танки Гудериана скоро должны были по плану наступления рвать своими траками эту еще не замерзшую, обнаженную перед снегами землю, должны были захватить и тот клочок земли, где жили ребята, эвакуированные из Москвы в июне сорок первого года.

Никто из них и не догадывался об этом, и тени страха

поэтому никто не испытывал, хотя и слышали многие, что фронт уже близок.

Земля русская была еще так велика для них и бескрайна, что у них и мысли не возникало о том, что немецкие армии могут прийти сюда, на эту землю, как пришли под Тулу, захватив Серебряные Пруды, которые совсем уже близко от Кораблина.

Конечно, они понимали и догадывались, что не ради удовольствия решили их отправить на Урал. Но это было не самым главным, о чем они думали в то суматошное утро. Главной была дальняя дорога без папы и мамы и то, что они в это утро почувствовали себя взрослыми и самостоятельными людьми.

Глава 20

Деревенский мальчонка в туго подпоясанном ватнике, в старой меховой шапчонке, в сапогах—мягкий весь какой-то на вид и шустрый, как серый воробей, суетился вокруг воза, стараясь всем помочь, стараясь успеть везде, и на лошадь покрикивал, когда она ногами перебирала, колыхая воз, а лошадь тогда вскидывала испуганно голову, пятилась и отворачивалась с ошалелостью в большущих глазах под кукольными ресницами.

А потом, когда тюки перевязали туго-натуго веревками, мальчонка вспрыгнул воробьем на оглоблю, а с оглобли, ухватившись за веревку, легко вскарабкался наверх.

Кеша тоже таким же путем взобрался на самую верхотуру и оттуда с опаской поглядывал на людей, которые таскали из школы тюки, нагружая другие подводы.

— Поезжайте, поезжайте!—махала рукой Анна Сергеевна.—Догоняйте Валю Зайцева. Не ждите! Там, на станции, вас Лидия Федоровна встречать будет. Поезжай, тебе говорят!

И они поехали. Воз качнуло, и Кеша, ухватившись рукой за веревку, последний раз оглядел школу, школьный двор, на котором бочка с тухлой водой, и серая стая воробьев на голом деревце, как серые листья, и гомонливое их щебетание на солнышке... Подводы, тюки, люди и лошади...

— До свиданья!—кричал Кеша и махал рукой. — До свиданья!

А мальчонка посмеивался и улыбался, всхохатывал вдруг без видимой причины и, перебирая длинными вере-

вочными вожжамн, гладнл имн коричневый лошадиный круп.

— Это мы мигом! — не уставал повторять он в каком-то праздничном, дешевом захлебе.— До станции — это мы мигом догоним. Тут и ехать: с бугра на бугор — н тама.— И спросил вдруг: — Далеко гонят?

— А нас никто н не гонит,— отвечал ему Кеша.— Ты канавы объезжай, а то свалнмся. Вон как качает...

А мальчонка, откндываясь в каком-то озорстве и веселье на спнну, смеялся взахлеб н даже «ой-ойкал» от удушлнвого смеха.

— О-о-ой, — говорнл он, переводя дыхание, — ну и смешной ты, москвич.

И так однажды донгрался, доопрокндывался, что его меховая шапка слетела с головы, покатнлась и плюхнулась в дорожную, разъезженную глину.

Он закричал что-то несуразное на лошадь, и когда та, ощернвшнсь от боли вонзнвшихся в губы уднл, кося выпученным глазом, остановилась, мальчонка тоже, как его меховая шапка, легко и ловко скатнлся вннз и крнкнул оттуда:

— Вожжн возьмн, москвич!

А сам побежал назад за шапкой.

Ехалн онн все время небыстро н в однночестве, ннкого не нагоняя, и их тоже ннкто не догонял. И теперь тоже остановнлнсь среди поля одни.

Небо вокруг было черно-пегое, с голубымн просветами. Солнце как будто осталось позадн, над интернатом, а здесь было сумеречное скошенное поле, потемневшая стерня, и чуднлось, что вот-вот соберется дождь нлн снег.

Лишь только смолклн колеса, монотонная н слякотная нх перебранка, вздохи нх, стоны н стукн, сразу же слышно стало, как лошадь постукивала глухо зубамн об удила н как мальчонка топал сзадн и ругался, поднНмая нзмазанную шапку.

Но не успел он н шапку обтереть, как лошадь, не дождавшись его, стронула вдруг воз н пошла дальше.

— Ей, москвнч,— крнчал мальчонка,— останови лошадь! Слышь, чего говорю! Она ж ко мне непривычная, меня не послушает, ты ее, заразу, вожжой остановн. Слышь, москвнч!

Он бежал сзади по стерне и опять смеялся. Дорога вела под уклон, лошадь шла ходко, и он ннкак не мог догнать ее.

Кеша тянул за вожжн что было мочн, но лошадь слов-

но бы и не чувствовала его усилий и шла как ни в чем не бывало, только черногривую шею выгнула и словно бы набычилась в упрямстве. Кеша растерялся не на шутку, не понимая, почему не слушается его лошадь, а мальчонка, раскрасневшись, все бежал по стерне и закатывался в смехе.

— Ей, москвич! — кричал он в своей безудержной смешливости.— Ей, слышь! Как тебя... Ты не за две...

— Она не останавливается,— отвечал ему криком же Кеша, натягивая вожжи, тягаясь силами с упрямой лошадью.— Не хочет!

— Ты не за две вожжи! Ей! Чего ты за две-то! Ей, москвич! Ты ей голову сверни на сторону. За одну вожжу тяни... Ну! — хохоча, кричал мальчонка, уже поотстав от воза, и хватался то и дело за шапку.

А Кеша уже робеть стал и, не зная, как сладить с лошадью, тянул теперь за одну вожжу, понимая по-своему, что делать этого нельзя, потому что лошадь может пойти в сторону и тогда не миновать беды. И тянул он не сильно. Лошадь, скособочившись, продолжала идти и, только когда дорога пошла на подъем, остановилась.

Мальчонка снова забрался на тюки, измазав их сапогами, и, потный весь, румяный, всклокоченный, но безумно счастливый и веселый, отобрал у Кеши вожжи.

— Во, зараза какая! — говорил он запыхавшись и не в силах уже смеяться.— Я ее знаю! На весь конный двор одна такая... А что делать?! Ну это мы мигом... До станции... Мигом! Догоним... Тут ехать-то, с бугра на бугор — да и тама. Не робей.

Все-таки, как ни чудён был этот мальчонка, а с ним рядом Кеша снова почувствовал себя уверенно и, улыбаясь, тоже говорил:

— Вот, зараза, какая упрямая! Ну и зараза! Не было бы бугра — не остановилась бы. А? Не остановилась?

— А чего ж... Могла бы,— соглашался мальчонка.

А дорога между тем пошла совсем плохая, ухабистая, с разбитой колеей, с мутными лужами и колдобинами. Воз кренило то в одну сторону, то в другую, телега всякий раз словно бы вскрикивала в скрипучем своем страхе, а лошадь с натугой тащила ее дальше. Медленно ехали. Пахло лошадиным густым потом. И даже мальчонка угомонился и сидел настороженно.

На развилке раскисших, плывучих дорог их нагнал обоз с ребятами, которые понуро грудились на телегах. Пришлось посторониться.

— Это не наши,— сказал Кеша.

— Известно, что не ваши,— отвечал мальчонка.— Не вас одних везут...

Обоз, громыхая и чавкая легкими своими повозками, потянулся теперь впереди, и ребята на телегах долго еще смотрели зябкими какими-то глазами на Кешу и, как ему казалось, старались в нем узнать своего. И не было тени веселья на их лицах.

А потом показались, словно бы из-под земли, другие повозки, которые нагоняли их: тяжелые — с вещами, и легкие, торопливые — с детьми. И все они, обгоняя, провожали Кешу чужими взглядами, от которых Кеше как-то не по себе становилось — тревожно и сиротливо.

А мальчонка радостно восклицал:

— Видел, сколько вас тут! Тучи!

Веселье снова пришло к нему, он все похохатывал, и видно было, что ему чертовски приятно участвовать в этом движении, участвовать в деле государственной, как ему говорил бригадир, важности, и еще оттого приятно, что он чувствовал себя хозяином, который провожает своих гостей.

— И-е-эх! — вскрикивал он радостно, постегивая вожжами лошадиный круп.— Шевелись! На хвост наступают.

Ему, как хозяину, весело и легко было оттого, что наконец-то собрались засидевшиеся гости, которым он вроде бы и рад был поначалу. Весело ему было смотреть на то, как они уезжали, и понимать себя хозяином, упрекнуть которого было не в чем.

— Чего ты все смеешься? — спросил у него Кеша.

— А весело...

— Отчего ж это весело?

— И сам не знаю,— отвечал мальчонка чистосердечно.— Со мной не соскучишься. Верно? Мне и мать о том же говорит. Я веселый.

А Кеша косился на него и думал, что парень этот просто чудак: ничего веселого он сам не видел и причин для смеха не находил. Дорога, насколько хватал глаз, была забита повозками, мальчишками и девчонками, маленькими и большими, сидящими на телегах и идущими пешком за телегами по грязи. Какое уж тут веселье!

Жухлая стерня оборвалась, и какие-то лиловые кустарнички задымились среди желтых листьев. Травка, мутная, полегшая наземь, блестела, как в росе, от растаявшего снега.

Еще издали Кеша Казарин увидел впереди глубокий

овраг, в который падала, пропадая, маслянистая, рыжая дорога, а повозки, казалось, ускоряли движение и словно бы проваливались сквозь землю. На отлогом подъеме с той стороны оврага, изрисованном извилистыми дорогами, видно было, как лошади, вытянув шеи и цепляясь копытами за скользкий грунт, тянули вверх тяжелые возы и пустые телеги и как шли по обочинам, по синей траве маленькие человечки, взбираясь наверх по склону оврага.

Когда Кеша с парнишкой подъехали к спуску, когда уже стерня осталась позади, они увидели две повозки, остановившиеся около спуска: одна была груженная вещами, а другая — с соломенной подстилкой. Тут же возницы стояли, о чем-то споря, и ребята в сторонке.

Подъехали ближе.

— Эй, чего там? — спросил мальчонка у парня, который кнутовищем все вниз показывал и говорил что-то другу своему.

— Чего, чего! Объезжать надо — вот и чего! Разбили дорогу. Разве можно! Вон какая яма.

— Так объезжай... Чего стоять!

Парень вдруг обернулся, обозлился на мальчонку, раскорячился перед ним и заорал:

— Ишь какой смелый! Расступись, народ! Вон поедет сейчас... Гляди!

Кеша понять ничего не успел, как мальчонка тронул уже лошадь, крикнул на нее в азарте и, объехав по целине повозки, направил лошадь вниз по траве, в овраг, придерживая ее вожжами...

— Дурень! — кричал ему парень вслед.— Куда полез?! Не там объезжать надо! Ей, слышь! Не там... Держи лошадь!

Но было уже поздно. Что-то вдруг хрястнуло внизу, воз с резким тычком завалился на бок, и Кеша, падая, успел выставить вперед руки, но, не почувствовав ни боли, ни страха, быстренько поднялся на ноги...

Мальчонка тоже отделался легко. Он ударился об оглоблю, но поднялся с земли и, вытирая руки о штаны, только морщился от боли, а может быть, не столько от боли, сколько от испуга.

Глава 21

— Что? — спросил Кеша.— С рукой-то?

— А ничего.

Парень с кнутом, за ним друг его и все стоявшие над

оврагом мальчишки и девчонки подошли, обступили завалившийся воз со сползшими тюками и стали соображать, что же это такое случилось и почему воз завалился.

— Чего тут! — сказал парень с кнутом.— Ось обломил.— И ткнул кнутовищем в подмятое переднее колесо телеги.— Ну куда ты полез? — спросил он с сочувствием.— Говорили тебе, а ты полез. Гордый какой! Ну? Чего теперь делать станешь?

— Сейчас я... это... — начал было мальчонка и вдруг набросился чуть ли не со слезами на парня с кнутом.— Разорался тут! Объезжать, объезжать... Вона, смотри... Вон едут,— показал он с отчаянием на подводы, которые благополучно спускались по дороге.— Ученый какой нашелся! Паникерщик!

А парень ухмылялся и говорил ему примирительно:

— Я рази говорил, чтобы ты здесь ехал? Ты напраслину не говори. Вон где объезжать надо. А с таким возом,— он опять ткнул кнутовищем в лежащий на земле тюк,— по дороге той не проехать... Верно? Рази можно!

Другой возница в плаще до пят, который молчал до сих пор, повернулся и сказал уходя:

— Все верно говоришь. Поехали, Федя. Дело не ждет. Помощи от нас тут все равно никакой. Ему чего теперь? Ему лошадь теперь распрягать. Сам-то откуда? — спросил он обернувшись.

— Из Незнанова.

— Незнановский. Так. У вас там все такие, как ты, или умные есть?

Оба засмеялись невесело и ушли наверх к своим подводам. За ними потянулись и ребята.

— А вы куда? — крикнул на них парень с кнутом.— Идите, идите на ту сторону, там подождем.

Ребята напуганной стайкой остановились и, подумав, повернули безропотно назад.

Мальчонка супился и молчал, с тоской поглядывая на колесо. Румянец его словно бы припудрился какой-то бледностью, и глаза потускнели.

Вскоре уехали и эти двое, благополучно миновав злосчастный овраг, который весь был, как дымом, затянут синей, сумеречной травой, сизыми кустами на желтых подстилках и изрезан был не одной, а уже тремя сплетающимися, рваными и извилистыми дорогами.

Глава 22

И потянулось время. Его отсчитывали проезжавшие мимо повозки с детьми и с вещами, а потом томительное ожидание... Здесь, в овраге, чудилось, будто уже сумерки наступили, хотя был еще полдень. И в те минуты, когда пустела дорога и все стихало вокруг и когда казалось, что надвигались вечерние сумерки, хотелось уйти за любой подводой, которая первой покажется из-за бугра, плюнув иа вещи и на мальчонку, который скуксился совсем и так переживал случившееся, что одиажды даже заплакал и запищал сквозь слезы тонко, словно мышь в поле: не сумел сдержаться, когда мимо проехал, видимо, хороший его зиакомый, которого звали Иваном и который из Незнанова тоже был, потому что иа тюках сидел Колька Караваев из интерната, белесый парнишка с акульими бесцветными губами.

— Постой, Ваня! — произительным голосом кричал мальчонка.— Ну слышь ты, постой! Чего делать-то? Ось у меня подломилась... Ваня! — И бежал рядом с возом и лошадью. Бежал с надеждой в глазах и верой.

А Иван, не останавливаясь, отвечал ему:

— А игде ж я тебе ось возьму...

— Так чего делать мне, Ваиь?

— А я почем знаю.

Кеша тоже бежал рядом с возом, спрашивал у Кольки:

— Слушай, а когда Анна Сергеевна поедет, ие зиаешь?

— А что тут у вас? — спрашивал Колька.

— Ось поломалась.

Колька брезгливо отмахнулся рукой и сказал:

— Все не как у людей. Ну и сиди тут, Ралиса...

«Да, конечно,— думал Кеша, отставая от воза,— ои теперь может так говорить. Теперь уж, коиечно, все будут смеяться. Эх-ха-ха. Лучше уж сидеть и ие спрашивать иикого. Пусть проезжают».

— Да пусть их едут! — со злобой сказал Кеша.

Вот тут-то он и услышал комариный писк, вот тут-то мальчонка и заплакал от жгучей обиды, да так горько, что Кеша тоже всхлипнул.

— Ладно тебе,— говорил Кеша.— Да не обращай ты внимания. Тебя как зовут-то?

— Сережкой,— отвечал мальчонка, которому лет, наверное, двенадцать тоже было, не больше, а теперь, когда он плакал, и вовсе можно было его за ребенка посчитать.

— Хватит тебе,— утешал Кеша, подталкивая Сережку

в плечо.— Слышишь, хватнт. Обндно, конечно. Я поннмаю... Я знаешь, как хорошо это понимаю! Если б ты знал...

А Сережка утер слезы н, всхлипывая, опять спросил с отчаянием:

— И чего теперь делать...

— А без нее никак нельзя? — спросил Кеша.

— Без оси нельзя.

Время опять отмерило свой шаг, опять показались подводы. Отсюда не видна была дорога в поле. Всякий раз из-за бугра неожиданно и неслышно вырастала темная лошадь, а за ней телега, за телегой другая лошадь и другая телега и опять лошадь, и только когда подводы начинали спускаться по склону, слышалн Кеша с Сережкой шум телег, дыхание потных лошадей, разговоры людские.

«Опять не наши»,— подумал Кеша и сказал Сережке:

— Не нашн.

На них внимательно и сочувственно смотрелн проходнвшне мимо незнакомые девчонки и, понимая, что помочь они не могут, уходилн, сутулясь, вниз, н Кеша провожал взглядом нх спины, скользящне ноги.

Он ннкак не мог избавиться от ощущения, что день уже окончнлся, и наступали сумерки, и все давным-давно уже проехали мнмо, и некого больше ждать.

— Сереж,— наконец решился он,— что будем делать?

— Не знаю...

— Все мнмо, мнмо... А нашнх все нет.

— Все идут,— задумчиво отвечал Сережка.— Идут н идут. Уж и не знаю.

— Починить-то можно эту ось?

— Починить можно, да только ось нужна новая.

— А где взять?

— В деревне, где ж еще...

— А съездить нельзя?

— Все можно.

— Так поезжай, а я подожду пока.

Сережка встрепенулся и спросил с надеждой:

— Отпускаешь?

— Ну раз надо...

— Это ты верно говоришь! Поеду я, а? Отпускаешь меня, да? Ну и верно. Потому что нначе чего ж... А я сейчас, мигом... Распрягу и мнгом до села, а там и обратно. Это дело! Мигом я...

Он оживился опять, заторопился, подскочил к лошади воробьем, стал распрягать ее, н у него это хоть н не быстро, но ловко получилось. Он вывел лошадь нз оглоблей,

взяв ее под уздцы. На лошади хомут распущенный остался, вся сбруя и еще вдобавок на холке дуга: все это Сережка забирал с собой, хотя делать это, как показалось Кеше, было не обязательно. Съест он, что ли, тут эту дугу?!

— А что ты все с собой берешь... Налегке бы и ехал.

— А ну-кась... Это... А ну как не будет оси?

— Тогда хоть приедешь и скажешь.

— Так-то оно так... Да ведь можно тогда и... эту... телегу... А? Верно! Тогда телегу впрягу другую и приеду.

На том и порешили они. Сережка попросил подсадить его, а сам набросился, подпрыгнув, на лошадь и повис сбоку. Кеша ухватился за его грязный сапог, и Сережка взобрался, смотал длинные вожжи, приладив их перед собой, и, елозя сапогами по лошадиным бокам, чмокая губами, тронул ее в обратный путь.

— Ну вот и дело! — оживленно и радостно говорил он.— Я это мигом...

— Ты только приезжай,— попросил Кеша.— Обязательно приезжай, а то...

— Как же! Что ты... Вот только ось достану и вернусь. Как же!

Но когда лошадь скрылась за бугром, Кеша пожалел, что отпустил этого Сережку.

«Не вернется! — думал он с испугом.— Тогда как же? Что людям-то говорить? Довез до оврага и вывалил вещи. Эх-ха-ха! Не вернется он теперь. А мне-то как же? Ведь не вернется».

Кеша не ошибся: Сережка и в самом деле не вернулся.

Глава 23

Короткий осенний день начал меркнуть, и уже настоящие сумерки расползлись по оврагу. Дорога опустела, и редко-редко по ней проезжала какая-нибудь припозднившаяся подвода.

Мимо Кеши Казарина уже проехали, как он считал, все ребята из Незнанова, и каждый раз, проезжая или проходя мимо, они, как на чужого, смотрели на него и словно бы не узнавали, словно бы впервые видели и старались уйти поскорее. Это было страшно и непонятно, как будто он один был во всем виноват, а они тут ни при чем.

Воспитатели, которые тоже проезжали мимо него и к которым бежал с надеждой Кеша, кричали ему строго и раздраженно, чтоб он ни в коем случае не отходил от вещей...

— Стой здесь! Ннкуда не отходи! — наказывалн они всякнй раз Кеше.— За тобой обязательио приедут. Стой и ннкуда не уходи!

И Кеша, которому сначала все это казалось правильиым и который все еще Сережку надеялся дождаться, в конце концов отчаялся совсем, особенно после того, как мимо проехала Аниа Сергеевна с ребятамн, которые шли за телегамн, усталые н равнодушиые ко всему иа свете.

— Аииа Сергеевна! — крнчал Кеша.— Что мие делать-то? Сережка этот за осью уехал, а я тут однн...

— Какой Сережка? — спрашнвала Анна Сергеевиа.

— Да мальчншка этот нз Незнанова. У нас ось поломалась. Ну вот! Мне-то с вами ндтн или иет?

— Стой здесь! Ты мне головой за вещн отвечаешь. Соловьев! — крнкнула она Гыре, который в своих грязиых н промокших, иаверное, ботинках шел по обочние.

— Ну чего? — отозвался тот.

— Оставайся здесь. Ждите иас. Мы прнедем иа стаицию и вериемся. Слышишь... Оставайся с Казарииым. Одиому ему страшно иебось будет.

Но Гыра как будто не слышал ннчего и продолжал упрямо идти, как та лошадь, которую Кеша не мог остаиовить...

— Соловьев! — крнчала Анна Сергеевна.— Я тебе что сказала!

И тут вдруг неожиданно для всех Гыра, который всегда н во всем был послушеи Анне Сергеевне, с какой-то истернческой взгливостью закрнчал:

— Да пускай он хоть сдохнет здесь! Не останусь! Сам поехал, пусть сам и сндит здесь. Потопал бы с наше...

— Соловьев! — кричала Анна Сергеевиа.— Я тебе приказываю остаться!

— Не останусь!

И Анна Сергеевиа, выведеииая из себя, вдруг разразилась такой бранью, которую она никогда себе еще ие позволяла, но теперь ие сдержалась и выпалнла, бледиея и задыхаясь от злости.

Гыра тоже, уходя все дальше н дальше от телегн с тюками, закрнчал на нее:

— Не нмеете права! Вы ие имеете права! — И стал размазывать по лнцу слезы, продолжая упрямо и напряженно идти за подводами.

Кеша остановился и, махиув рукой, сказал:

— Ладно, я одни здесь... Ладио, Аииа Сергеевна. Не надо...

Анна Сергеевна, бледная и какая-то изуродованная вся своей несдержанностью, остановилась и жалко, упавшим голосом сказала:

— Хорошо, Кеша. Никуда не уходи. Если даже стемнеет, никуда не уходи. За тобой обязательно приедут. Еще сзади наши едут. Они возьмут тебя. А этот... пусть идет.

Гыра вдруг опять сквозь слезы завопил хриплым каким-то визгом:

— А вы не имеете...

— Замолчи,— сказала ему Анна Сергеевна тихо, но с такой угрозой в голосе, с таким мраком, что Гыра осекся и, рыдая, понуро пошел дальше.

И Кеша подумал, что если бы Гыра не замолчал, если бы опять кричать начал, она бы ударила его.

В какой-то отрешенности, в каком-то отупении Анна Сергеевна смотрела на тюки, сползшие с телеги на землю, на подломленное колесо, а потом спросила:

— Кеша, так ты побудешь здесь? Не страшно? Одному...

— Нет,— сказал Кеша,— не страшно.

— Никуда не уходи.

Она пошла, меся грязь дороги своими блестящими резиновыми ботиками на высоких каблуках, и Кеше показалось, что Анна Сергеевна, которая ночь не спала, а потом весь день суетилась не разгибая спины, таскала вещи, собирала ребят, а теперь вот смертельно усталая шла за ними по грязи,— Кеше показалось, что она уходила от него и плакала. И это было самое страшное, что он пережил за этот день: Анна Сергеевна плакала.

Глава 24

Кеша сидел на полосатом мягком тюке и уже без всякой надежды смотрел на пустую дорогу. Он старался не оглядываться, потому что там, внизу, в овраге, все темнее и гуще дымились сумерки, там уже начинался, растекаясь по всей длине оврага, пугающий вечер, и оттуда, как из погреба, подбирался к ногам холод. Кусты там словно бы шевелились и перебегали с места на место, исчезали, а потом вдруг снова появлялись. И чудилось, будто бы кто-то ходил там по опавшим листьям среди кустов. Или это сами кусты ходили... А вдалеке, за изгибом оврага, за дымом кустов, мерцал все время какой-то огонек. И хоть светло еще было вокруг, огонек этот хорошо уже и отчетливо желтел вдалеке, за кустарником.

Нет, туда нельзя было смотреть: внизу по всей длине темнеющего оврага копошились какие-то сизые существа, похожие на кусты, или это были кусты, похожие на живые существа, а может быть, это был вечер, который карабкался по склонам оврага наверх, подминая своей холодной и растекающейся сумерью кусты и синюю траву, потерявшую теперь свой цвет.

Уже давно проехали назад пустые повозки со станции. И стало тихо в овраге, словно тут все живое давным-давно уже вымерло — ни птички, ни вороны какой-ибудь, ни шороха, ни писка. Только по желтым листьям все время кто-то ходил и ходил, и Кеша стал уже с тоскою в озябшем сердце отчетливо различать эти бесконечные шаги, осторожные и легкие. Шаг за шагом, шаг за шагом, шаг... и снова за шагом шаг. Он боялся оглянуться, боялся увидеть что-то невообразимое, жуткое, не имеющее никакого облика, что-то такое, о чем он ие имел никакого представления, но безумно страшное и необъяснимое, от чего кровь даже заледенеет в жилах и остановится сердце, если вдруг покажется это загадочное н е ч т о.

Он упорно смотрел на светлую и хорошо еще видную дорогу, на вершину оврага, над которой текло низкое небо с темными и белыми облаками, и ждал, что вот-вот на этой вершиие вырастет вдруг лошадиная голова под дугой и загремит телега.

Но все было мертво, и даже шаги умолкли; н е ч т о теперь притаилось среди шевелящихся кустов.

«Ну как же так? — думал он, удивляясь.— Почему же никто не приехал за мной? Говорили, чтоб я тут ждал и не отходил от вещей, а сами забыли про меня и про вещи. И даже Анна Сергеевна. Как же так?»

И когда он иачинал опять и опять возвращаться к этому недоумеиному вопросу «Как же так?», он представлял себе с каким-то смирением и тихой покорностью судьбе, как все люди, которых он знал и которые теперь забыли о нем, сидят уже в вагонах, а паровоз уже прицеплен к составу, стоит под парами и шипит, ожидая минуты отправления. А люди в вагонах укладываются спать, съев перед сном что-то горячее и вкусиое, может быть, сладкую манную кашу с куском растаявшего масла или выпив кружку горячего чая с хлебом. А потом паровоз загудит и тронется. Вагоны вздрогнут все разом, и колеса их медленно начнут поворачиваться: сделают одии оборот, второй, третий и начнут крутиться все быстрее и быстрее...

И тогда вдруг кто-то вспомнит о нем.

Но тут воображение ему отказывало, и он, уже не в силах выносить обиду и отчаяние свое, всхлипывал и смаргивал теплые слезы. Зябкая дрожь начинала бить его тело, словно бы со слезами вытекало из него последнее тепло.

Однажды он до того измучился в своих мыслях и в своем до жути страшном одиночестве, что поднялся с тюка и, плача, пошел вниз по дороге, как недавно шел Гыра. Но когда он только еще поднимался с помятого тюка, решив бросить вещи и уйти по дороге на станцию, он уже чувствовал каким-то странным и непонятным образом, что далеко все равно не уйдет, словно он был привязан к этим дурацким вещам, о которых, как он думал, все давно уже позабыли. И он, плача навзрыд, вернулся к ним и опять уселся на продавленный тюк. Он и не догадывался и даже подумать не мог в эти минуты отчаяния, что впервые в жизни испытывает жестокое в своей определенности и твердости чувство долга. В эти минуты он знал, что вещи нельзя оставить посреди дороги, потому что вещи эти были общими. А раз общие — их нельзя оставить, даже если поезд уйдет без него. Кеша и не предполагал, конечно, что все эти часы и минуты он находился во власти самого мудрого и благородного чувства, способного разбудить в человеке такие силы и такую красоту души, о которых человек порой и не догадывается.

Глава 25

А земля уже утратила свои краски, и дорога померкла, стала расплываться в общей сизости, и уже кусты перестали шевелиться и пропали совсем, и только кое-где светлели еще листья, опавшие с этих кустов. Но теперь по этим листьям никто уже не ходил — все было тихо, словно бы все замерзло... И облака, текущие над бугром, помрачнели и налились сумеречной тяжестью и влагой, приблизились к земле, придавили бугор и как будто бы остановились над оврагом на ночлег.

Зато груда тюков дыбилась теперь в густых сумерках белым изваянием, каким-то выходом каменной породы.

Кеша с ногами забрался на тюк и, дрожа всем телом, не в силах уже унять этой дрожи, снова вдруг услышал чьи-то шаги: шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. И голос услышал приглушенный и бубнящий, как в бочке... Какое-то фырканье вдруг... И шаг за шагом.

Он подобрался весь, поджал ноги и слышал, как сердце

у него бухало где-то в горле. И услышал вдруг с не меньшим нспугом и ужасом постукивание и хруст катящихся колес телеги. Увндел там, где недавно была дорога, какую-то тень, скользящую в овраг.

Он испугался на этот раз, заметнв подводу, ибо понимал, что, если опять она проедет мимо и не заберет его отсюда, ему будет так трудно и так плохо, что он и представить себе боялся. Он даже не решался выйти навстречу этой подводе, чтобы ие обмануться в последней своей надежде. Он слышал женские голоса, он слышал их совсем уже близко и в оцепенении ждал, что проезжающие сами увидят белую груду и подойдут узнать, в чем дело. Но телега катилась, постукивая и похрустывая, н женскне голоса все так же спокойно бубнилн и бубнили в потемках.

Он спрыгнул с тюков и, все еще видя тень на дороге, с усилием выдавил из себя не крик даже, а сиплое, взлаивающее восклнцание:

— Эхей!..

Голоса умолкли, и лошадь стала.

Кеша, зайдясь в предательской, лнхорадочной дрожи, опять вытолкнул из себя полукрик-полусипение, рыдающее какое-то покашлнванне. Собравшнсь с силами и мужеством, спросил ломким голосом:

— Вы не из Нез... Незнанова? А?

Не узнавая себя, он опять откашлялся и пошел, точно иа ходулях, к темнеющей телеге, от которой снльно пахло лошадью.

— Это кто же тут? — услышал он тревожный, но удивительно знакомый голос.

Женщнна отделилась от телеги... Лошадь фыркнула, и сбруя звякнула.

У Кеши не хватало дыхания, и он никак не мог набрать в легкие воздуха и что-то сказать в ответ, потому что его бил озноб и он боялся перепугать очень знакомую женщину, которая подходнла к нему. Он изо всех сил крепился, сдержнвая дрожь.

— Я... это! — сказал он, иаконец узнав в женщине врача из интерната.— Казарин.

— Боже мой! — восклнкнула та в нспуге.— Что с тобой? Почему ты здесь?

— С вещами... — отвечал Кеша.— Чего-то я замерз... И он жалобно улыбнулся, понимая, что Клавдия Васильевна ужасно перепугалась за него.

— Стоп-стоп-стоп! — сказала она.— Какие вещи? Ты

ехал с вещами? Но это же утром было! И до сих пор?! Почему?

— Ось у иас сломалась...

В телеге кто-то заворочался, и оттуда донесся писклявый, хриплый голосок:

— Кто там, Клавдня Васильевна?

— Подождите, девочки! Тут мальчик наш. Не вставайте! Так ты говоришь, с вещами? А где же они?

Кеша оглянулся и сам уже только смутно увидел в потемках серую глыбу, совсем ие похожую иа груду мягких тюков.

— Там. У телеги ось сломалась, мы упали, а потом иичего... Потом Сережка удрал на лошади... Это который... ну этот... А я сторожнл вещн.

— Так, так, так. Понятио,— говорила Клавдия Васильевна в озабоченности.— Прости, я забыла твое нмя.

— Я Кеша Казарин... А Анна Сергеевиа сказала, что приедет... Я ждал все время... что за мной приедут и возьмут...

— Все верно... Стоп-стоп! Они знали, что я еду последней... Все верно. Но что же нам с тобой делать? — сказала она в какой-то невозможно тоскливой и пугающей задумчивости.— Что же делать?! У меня больные девочки. А у тебя целый воз вещей. Что же делать? Ну хорошо! Вот что, Кеша...

И случилось то, чего он больше всего боялся в эти миинуты: он услышал, как Клавдия Васнльевна, водя указательным пальцем у него перед глазамн, говорила ему, чтобы он подождал еще немного здесь, у вещей, а она доедет до ближайшей деревнн, оставит девочек в какой-нибудь избе, а сама вернется за ним, а деревня, говорила она, совсем недалеко отсюда, н даже видны огоньки.

— А ты уж, дружочек, потерпи немного, побегай, согрейся, не сиди на месте, побегай,— повторяла она.— Я скоро приеду.

Кеша слушал ее и не верил. Он знал, что она не вернется за ним. На всякий случай спросил:

— А вдруг поезд уже уйдет?

— Нет, дружочек! Он без иас не уйдет. В интернате еще тетя Глаша осталась, н повариха, и воспнтательница из младшей группы, и сестра тетя Варя. Что ты? Оин еще завтра только поедут.

Кеша успокоился немножко, почувствовав освобождение от назойливой и пугающей мысли, которая не давала ему тут, в овраге, покоя, н улыбнулся даже.

— Ладно,— сказал он.— Я подожду вас... Только...

— Ты мне не вернишь, может быть, да? — перебила его Клавдия Васильевна.— Так вот запомни: Клавдия Васильевна не умеет врать, и если она сказала, что скоро приедет, значит, так оно и будет. Мы все вместе переночуем в деревне, а утром поедем дальше.

В телеге опять что-то скрипнуло, и оттуда донесся тот же сиплый и писклявый голосок:

— Клавдия Васильевна, а кто там?

— Девочки, это Кеша Казарин. Знаете такого? Вот знайте теперь! — И она потрепала Кешу по щеке.— Это наш герой!

Рука у нее была холодная и сухая, как у всех врачей на свете, но эта была удивительно ласковая рука.

Кеша вдруг подумал, что в телеге, наверное, те самые девчонки, которые ангиной болели, а значит, там, на соломенной подстилке, лежит, конечно, и Лариса Белякова, потому что она ведь тоже болела... Он только теперь припомнил, что не видел ее сегодня среди проезжавших и проходивших мимо детей.

— Ты бегай здесь, бегай! — говорила Клавдия Васильевна.— И махай руками, чтобы не замерзнуть. Прыгай и бегай.

И Кеша стал бегать. Он добежал до вещей и с налета бросился на мягкий полосатый тюк, а потом опять побежал прочь, и снова вернулся, и, остановившись, слушал, как замирали звуки уехавшей подводы.

На этот раз он поверил, что за ним приедут. И что будет впереди удивительный и неправдоподобный вечер, а потом ночь, а потом утро...

«У нее ведь горло опухло, вот она и пищала»,— подумал он и, улыбаясь, вспомнил опять: «Кто это там, Клавдия Васильевна?» Конечно, это спрашивала Лариса. Вот чудеса! «Это наш герой!» — вспомнил он слова Клавдии Васильевны.

Кеша подпрыгивал и махал руками, как ему велела Клавдия Васильевна, и ему даже странным казалось, что он до сих пор не догадывался этого делать.

Сейчас ему было легко и приятно прыгать, потому что он знал, что за ним приедут и что на соломе в телеге была Лариса. И если бы он знал, что все так чудесно получится в этот день, если б он знал, что у телеги подломится ось, а он останется допоздна один, но зато потом за ним приедет Клавдия Васильевна, он бы, конечно, весь день прыгал от радости и еще целую ночь пропрыгал бы здесь в

одиночестве, лишь бы так близко и так необычно увидеть Ларису, которая теперь, может быть, поймет, что он вовсе не такой уж смешной и забитый мальчишка, как думают все.

Он прыгал словно бы во сне. И все теперь было как будто во сне: потемки, телега с соломенной подстилкой и писклявый голосок, и сам он, прыгающий тут, на склоне темного, но совсем нестрашного, обыкновенного оврага, прыгающий и взмахивающий руками, летающий наяву и ликующий...

Глава 26

Председатель колхоза, полувоенный человек в гимнастерке, подпоясанный широким командирским ремнем, и усатый, как Чапаев, был очень как будто бы рад тому обстоятельству, что Клавдия Васильевна с детьми вынуждена была заночевать в селе.

Кирпичная изба, крытая соломой, казалась битком набитой людьми, и в этой тесной и тускло освещенной, жаркой избе были счастливы все: и хозяева и гости.

К тому времени, когда наконец появился Кеша и привезли вещи, оставив их на телеге во дворе, стол уже был накрыт и в черном чугуне, наполняя комнату душистым паром, светлела рассыпчатая, искристая, как топленое масло, горячая картошка. И настоящее русское масло стояло в глиняном горшке, и соленые, лакированные огурцы с веточками укропа грудились в миске, а посреди стола кусок холодного мяса с застывшим, стеариновым жиром. И тарелки уже стояли для всех.

А когда все сели за стол, хозяйка, немолодая уже женщина с текучими, смеющимися и очень добрыми глазами, толстая и разомлевшая, достала из настенного шкафчика графинчик с водкой и три маленьких граненых стаканчика.

Председатель колхоза, как дирижер, поднял руки и брови, и даже как будто усы у него поднялись от приятного удивления и, замерев в такой странной и, как, видимо, ему казалось, деликатной позе, молчал, пока хозяйка разливала теплую водку по стаканчикам.

Молчала и Клавдия Васильевна, а когда хозяйка поставила графинчик на стол, сказала без всякого жеманства:

— Спасибо. Я с удовольствием сейчас выпью за ваше здоровье.

Председатель обрадовался и сказал прочувствованно:

— Вот это правильно. Это по-нашему! От всего сердца.

Время суровое, военное, вроде бы и не до веселья, но вот смотрю я на вас и просто радоваться хочется — какая вы молодчина! Красивая, образованная...

— Стоп-стоп-стоп! — отвечала на это Клавдия Васильевна.— Не надо так. Давайте лучше просто выпьем за нашу победу.

— За победу! — сказал председатель и выпил залпом.

И Клавдия Васильевна тоже выпила и стала после этого не торопясь есть эту необыкновенную картошку с холодным огурцом.

Кеша сидел за столом напротив Ларисы Беляковой и, испытывая голод, чувствуя себя совершенно раздавленным этим звериным ощущением, никак не мог съесть свою порцию картошки, кусок мяса и огурец — удивительно вкусные, но ничтожно малые по сравнению с тем, что он мог бы съесть мысленно,— он переставал вдруг есть, боясь поднять глаза от тарелки, с трудом проглатывал неразжеванное мясо, осторожно набирал в ложку картофель, стараясь не уронить какую-нибудь крошку на клеенку...

— Кеша, а почему без хлеба? — спросила Клавдия Васильевна.

Лариса, услышав это, фыркнула вдруг, поперхнулась и закашлялась.

Кеша готов был в эти минуты совсем отказаться от еды или уйти потихонечку куда-нибудь в угол, забиться там, как собака с костью, и есть свою порцию, чтобы никто не видел, как он ест, и как он голоден, и как ничтожен перед этим бешеным чувством голода. Он чертовски хотел есть! Или, вернее, жрать, как он сказал бы сейчас. Жрать чертовски хотелось, но оттого, что он сидел за столом напротив Ларисы, ему никак не удавалось почувствовать, что он ест и насыщается, да и вообще не удавалось есть, как будто он разучился держать ложку, засовывать ее в рот, прожевывать то, что было в ложке и попадало в рот, и глотать. Все это теперь казалось ему слишком грубой и очень неприглядной, тяжкой работой, с которой прекрасно умел когда-то справляться, но теперь вот вдруг разучился совсем. Он думал теперь, сидя за столом напротив раскрасневшейся и нездоровой еще девочки, у которой глаза блестели и шея была закутана белым шарфиком, что ему надо обязательно поскорее доесть то, что было уже в тарелке, потому что можно надеяться на добавок: в чугунке еще много было картошки, а в миске огурцов. Он все это давным-давно уже съел глазами и чуть ли не плакал от своего дурацкого оцепенения, из которого его

в конце концов вывела сама Лариса. Она вдруг спросила:

— Очень устал, да?

— Нет,— ответил Кеша.— Просто чего-то...

— Замерз, да?

— Нет...

— А чего ты зубами стучал, как волк? — спросила Лариса и засмеялась с бухающим кашлем.— Пугал нас?

Щеки ее, словно бы припухшие от болезненного румянца, лосинились от тепла и сытости, и губы горели ягодной, неестественной краснотой, а затуманенные болезнью и температурой глаза были очень грустные, хотя она и смеялась.

Кеша никогда еще не видел ее такой красивой и, как это ни странно, такой взрослой и всепонимающей, как будто она была намного старше его.

Он улыбнулся на этого «волка» и сказал:

— Конечно, замерз.

Вторая девочка, у которой был сильный насморк, сказала угрюмо:

— Дичего сбешдого.

У нее был совершенно заложен нос, и она «быдыкала» очень смешно. Кеша с Ларисой опять засмеялись. Лариса вновь закашлялась отчаянно, глухо, с какой-то хрипотой, и у нее налились слезами глаза, покраснели от натуги, но она все равно смеялась.

— Я так жрать хотел,— признался Кеша,— а теперь чего-то уже не хочу.

И опять смеялась Лариса, а Кеша понимал этот нервный, ломкий, хрипловатый смех, как какое-то таинственное приглашение к дружбе, к разговору, потому что он вдруг с удивлением и застенчивостью начинал понимать или, вернее, начинал чувствовать прикосновение некоторых ее взглядов, которые она бросала на него и которые оставались как бы сами по себе существовать в этой желтой от керосинового света, жаркой комнате. Он чувствовал особость этих ее взглядов, необычность их и стал теперь сам уже ждать, когда она еще посмотрит так на него, и она опять смотрела, а он удивленно улыбался в ответ, испытывая такое необыкновенное чувство очарования, какого он никогда еще не знал и даже предполагать не мог, что существует на свете что-то похожее на это чувство.

И когда он услышал, как Клавдия Васильевна стала говорить с хозяйкой о ночлеге, о том, кого куда положить на ночь, он удивленно воскликнул:

— А мне совсем что-то не хочется спать!

И Ларнса Белякова, словно бы они договорнлнсь с ней, сказала следом за ним:

— И мне тоже!

Он-то догадывался теперь, что ей тоже понравилось смотреть на него и она тоже хочет еще посндеть в этой комнате, чтобы никто, кроме Кеши Казарина, не обращал на нее внимания, чтобы все были заняты своими важными н очень серьезными разговорами о войне, о фронте, о Москве.

О них опять вскоре позабыли совсем, и Лариса, облизывая то н дело пересыхающие свои вишневые губы с такой же тонкой и блестящей, как у вишни, кожицей, спросила:

— А вдруг бы мы проехали мимо? Тогда что? Вдруг бы ты не услышал? Ты бы так и сидел сейчас там? Да?

Кеша хотел ответить на этот вопрос по-мужски, хотел сказать, что он бы не ушел, конечно, с этого поста, но он доверчиво посмотрел на Ларису н ответил:

— Не знаю... Наверное, сидел бы.

— Ой, как страшно, да? В овраге...

На этот раз искренность изменила Кеше, н он усмехнулся.

— А чего страшного-то? Подумаешь! — сказал он самодовольно. — Это когда темнеть стало, вот было страшновато...

— Почему? — шепотом спросила Ларнса.

— Почему! Потому что... — Он наклонился к ней через стол и тоже тихо сказал: — Потому что там кто-то в кустах ходил... Там такие кустики н опавшие листья... По листьям кто-то... шурк, шурк...

— А кто?

— А я откуда знаю...

— Может, тебе показалось?

— Что ж, я глухой, что ль...

У Ларисы было испуганное и очень серьезное выражение лица, а Кеша и сам, когда рассказывал об этом, стал вдруг побаиваться черных, поблескивающих отражениями оконных стекол, словно бы он мог столкнуться взглядом с таким существом, которого не было никогда на свете и которого никто никогда не видел: боялся возможного своего испуга.

— Вообще-то, может, мне и показалось, — сказал он с улыбкой. — Было тихо, и, может, это листики последние падали, н слышно было, как они падали...

— Наверно, — радостно отозвалась Ларнса и с благо-

дариостью посмотрела ему прямо в глаза, а потом опустнла масляиистые от болезни, набрякшие усталостью веки и еще раз мельком взглянула, чувствуя теперь на себе его взгляд.

А у Кеши сердце колотилось иепривычно и ие хватало дыхаиия, когда ои смотрел ей в глаза, ие отводя своих глаз.

Это было необычайно жутко, смотреть ей в глаза и видеть, как оиа опускает их покорио. Жутко это — смотреть в глаза девочки, словно бы ты и ие человек, а какой-то дикий звереиыш, которому впервые в жизии пришлось встретиться глазами с человеком, царем всех зверей. Кеша даже усталость какую-то почувствовал вдруг, какую-то опустошеиность, словио все свои снлы отдал иа то, чтобы не отвести глаз от этих другнх, удивнтельно прекрасиых и пугающих своей глубииой глаз девочки. И ои больше ие решался смотреть иа иее, был смущен, будто бы совершил что-то недозволенное, что-то запретное, иарушнл какую-то страшиую н иедоступиую еще тайиу.

Ларнса тоже, внднмо, была поглощена новым н первым в жизни ощущением покориости и тоже теперь боялась смотреть на Кешу...

Глава 27

А утром опять было солнце, но на этот раз легкий морозец схватил всю землю, а лужн были как будто иакрыты стеклами. Лужн были мутные, как кофе с молоком, который давали по утрам в интериате, но эти ледяиые стекла, толщниой с окониое, былн прозрачны и чисты, и Кеша руками осторожно снимал с холодной мутиой лужи осколок этого ледяиого стекла н, улыбаясь, смотрел через мокрую его прозрачность на Ларису Белякову и хорошо видел ее.

— Здравствуй, — говорил ои ей, опуская это подтаявшее в руках стекло.

— Здравствуй, — отвечала ему Лариса и улыбалась, щурясь от яркого солнца.

— Я стекольщик! Стекла вставляю! — кричал он, смеясь. — Кому вставить стекла? — обратнлся он к угрюмой девочке, которая невесело смотрела на него.

— Днчего сбешдого, — сказала та хмуро.

А ои все смеялся н вдребезгн бил тонкий лед, удивительио похожий на оконное стекло, и шел нскать новую кофейиую лужу, покрытую льдом, под которым грустио

светлели большие воздушиые пузыри, замуроваииые морозцем. И Кеша освобождал их из-подо льда, думая о них в это утро как о милых каких-то существах, которым хочется летать. А оии и в самом деле казались живыми, эти пузыри подо льдом, потому что, когда ои иачинал осторожио снимать с лужи лед, оии шевелились, бегали там, ища выхода иа волю, и находили...

— Стекла вставляю! — кричал опять Кеша и шел к Ларисе с большим осколком стеклянного льда, глядя сквозь это стекло.

— Здравствуй! — говорил ои, опуская лед.

— Доброе утро, — отвечала оиа с улыбкой и смущеиием.

Мокрые пальцы горели от холода, были свекольио-розовыми, ио Кеша долго еще забавлялся с этим льдом, разбивая его вдребезги у ног Ларисы, которая всякий раз пугалась, как будто и в самом деле это было настоящее стекло. Но ие сердилась. Ей тоже нравилась эта зимияя забава — колоть лед, и оиа тоже искала замерзшие лужи, и каблучком своего ботинка осторожио давила хрустящий лед, и отдергивала ногу, когда выступала вода. Но оиа иаходила и такие малеиькие лужицы, вода которых успела уже вся вымерзнуть за иочь, и вся лужица белым кристаллическим льдом повисла над впадинкой, в которой покоилась до морозца. Этот лед лопался и хрустел у иее под ногой оглушительно и звонко.

— Огоиь! — кричал Кеша.

А оиа ударяла каблучком по белому льду, рождая треск гулкого выстрела. И оба смеялись.

— Тебе нельзя смеяться на холоде, — говорил ей Кеша. — Только улыбаться можио, а то опять заболеешь.

— Угу, — соглашалась она. — Не буду.

Им было очеиь хорошо в это утро. И когда за ними приехал на рессориой чериой тележке председатель, и оии покатили по замерзшей дороге, а лед трещал под высокими, тоикими колесами, и разбитые лужи колыхались сзади, выходя из своих глиияных берегов, им тоже было очеиь хорошо, потому что оии сидели рядом и касались друг друга плечами.

Глава 28

На станции было ветреио и шумно в это утро. За бурыми вагоиами взвивались вверх и рассеивались иа ветру черио-белые дымы, а ветер разносил какой-то звонкий

звук, как будто с этим мелодичным звуком рассыпались в голубом воздухе черные дымы и белые. Головастые галки тоже звонко и отрывисто вскрикивали, перелетая то и дело в переполохе, и, чумазые, как кочегары, важно расхаживали по черной, прокопченной земле.

Люди, казалось, тоже бестолково и всполошенно суетились на перроне, торопились куда-то, бежали через рельсы, лезли раскорячившись под вагоны, тащили, расплескивая, ведра с дымящимся кипятком, покрикивали, словно галки.

Раздавались вдруг бухающий грохот стартовавшего паровоза, лязг железа и опять утробное бухание пара, прерываемое порой торопливым и грозным взрывом какого-то адского хохота, а потом снова размеренное бухание набиравшего силы и скорость паровоза глушило живые голоса. И видны были вспыхи серого пара и дыма, которые двигались толчками за глухой стеной бурых вагонов, забивших пути узловой станции.

Солнце светило. Кургузые товарные вагоны, отбрасывая белесые от инея тени, казались длинноногими какими-то существами. Они чуть касались колесами накатаных рельсов, словно стояли на цыпочках, готовые вот-вот заскользить по голубому льду. Но глухи и буры были они, как подслеповатые избушки на колесах, а дощатые стремянки, словно крылечки, примостились к каждому из них, и над крышами курились дымки. Это и был тот самый эшелон, который вот уже двое суток стоял в ожидании на запасном пути, битком набитый московскими ребятами.

Он простоял еще целые сутки, прежде чем прицепили к нему паровоз, но когда Клавдия Васильевна и дети с ней лихо подкатили на черной председательской бричке к станции, они тоже заторопились, как и все тут на станции, словно бы до отправления оставались минуты.

Это потом им казалось, что их эшелон вечно стоял здесь, на этом запасном пути, и будет стоять, врастая в землю и ржавея. А сначала их поразило и встревожило всеобщее какое-то движение и суета. И они побежали к своему эшелону, который был первым в ряду других и стоял на первом, наверное, пути, сдвинутый вправо от вокзала.

Впрочем, это и не первый был путь, потому что эшелон стоял на запаске, хотя сначала казалось, что он стоял ближе всех других эшелонов и путей... Перед ним были еще какие-то плавно изогнутые, блестящие рельсы, и они прыгали через них. А навстречу им по упруго изогнутому,

стремительному рельсу, балансируя руками, шел Валька Юсупов и улыбался.

— Здрасьте, — сказал он всем, глядя лишь на Кешу Казарина. — Приехали? Куда торопитесь-то? А где Анна Сергеевна?

— Как это где? — удивленно спросила Клавдия Васильевна.

— А она вчера уехала... вон за ним, — ответил Юсупов, кивнув в сторону Кеши. — А мы тут печку в вагоне топили. Ребята гуляют, а я дежурный.

— Когда же она уехала?

— Не знаю... Уже темно было, — ответил Юсупов, оступаясь с рельса и снова вставая на него. — А тут немецкие паровозы стоят раскокошенные... А военных эшелонов с пушками! Полно было.

Это неожиданное известие об Аннушке обескуражило Клавдию Васильевну, и она даже ссутулилась, осела сразу. Получалось так, что, подобрав по дороге Кешу, она невольно поставила Аннушку в затруднительное положение, заставив ее понапрасну тревожиться, и, может быть, даже вынудила искать среди ночи Кешу Казарина, которому, кстати, теперь в отличие от Клавдии Васильевны было приятно узнать, что Анна Сергеевна уехала вчера за ним, хотя он и подумал, что ему бы не повезло, если бы она поспела за ним раньше Клавдии Васильевны.

— А где паровозы-то? — спросил он недоверчиво у Вальки Юсупова. — Ты говоришь — немецкие?

— Ну как же она не догадалась спросить в деревне! — говорила расстроенная вконец Клавдия Васильевна. — Не могла же я оставить мальчика одного!

Но к полудню все образовалось, и люди, очень волнуясь за Анну Сергеевну, вздохнули облегченно, когда наконец-то приехали медсестра Варя с Глашей и повариха, которые привезли с собой целый воз кухонной утвари и чугунные котлы. С ними вернулась и Анна Сергеевна.

Нет, она не догадалась заехать в деревню, а увидев, что Кеши в овраге нет и вещей тоже нет, решила, что его подобрали порожние подводы, едущие со станции в Незнаново... Но в интернате его тоже не оказалось, и ночь была очень тревожной... Все они спали «вполглаза», как сказала Варя.

— Слава тебе, господи! — говорила повариха. — Аннушка так измучилась, изнервничалась... Ну теперь ладно! Все теперь вместе... А Зойка моя где? Здорова ли?

— Здорова, — отвечали ей. — Здорова Зоя.

И Анна Сергеевна мокрыми и какими-то плоскими, светлыми глазами смотрела на Кешу Казарина и улыбалась измученно и тоскливо.

В этот день она уже не выходила из вагона и проспала до вечера. Ее никто не будил, и ребята, заходя в вагон, разговаривали шепотом, чтобы не мешать ей спать. Они были правы, хотя, казалось бы, вряд ли детский голос мог разбудить уставшую женщину, если уж даже паровозные гудки, шумы и лязги узловой станции не в состоянии были этого сделать. Но то были лязги мертвого металла, а услышав детский голос, она бы обязательно проснулась... Все это чувствовали и говорили шепотом.

Глава 29

Прошли еще сутки, и день еще прошел, наступила ночь, и ребята все спали, когда вдруг вагоны вздрогнули. А еще через час паровоз, словно бы крадучись, вывез эшелон с запасного пути и потащил в неизвестность.

Они ехали двенадцать суток, останавливаясь часто среди поля на каком-нибудь разъезде, чтобы пропустить встречные воинские эшелоны, которые из морозной и белой зимы торопились в осень, в бесснежные еще и мрачные, тревожные края нашей исстрадавшейся земли.

Однажды поезд остановился в равнинной заснеженной пустыне, и женщины заторопились с ведрами к паровозу за угольком.

Железная времянка рдела раскаленным, углисто-красным боком посреди тусклого вагона, а за сдвинутой, заиндевелой дверью вставало мглистое солнце, и было оно тоже углисто-красное, как печной бок, а снежные равнины в своей стеклянно-белой, ослепительной напряженности отражали ярко-розовые, лютые лучи восходящего солнца. Мороз был острый и резал, как бритвой, щеки и нос, и страшно было вдыхать этот посверкивающий, промороженный насквозь, разреженный воздух, и глаза даже мерзли, когда Кеша Казарин, туго затянув шарфом поднятый меховой воротник, бежал вместе с Анной Сергеевной за каменным углем.

После темного вагона все было пронзительно ярко вокруг и зимне: голубые снега, подсвеченные розовым сиянием, провода в иглистом, кристаллическом инее, заснеженные крыши домов на разъезде и остекленевший зимник, пробитый среди равнины, укатанный санями до струнной какой-то звонкости...

Ресницы у Анны Сергеевны заиндевели, и Кеша чувствовал, как слипались они у его самого, мешая смотреть на эту удивительную зиму, которая открылась вдруг перед ним, — ничего похожего он еще никогда не видел и мороза такого не знавал, и чувствовал он себя в эти минуты отважным первооткрывателем новых материков.

Так оно, собственно, и было на самом деле, ибо они приблизились уже в своем долгом путешествии к неведомой для них части света, которая называлась Азия. Она была где-то там, за близкими уже Уральскими горами.

И вдруг оттуда, из той неведомой стороны, прикатил на разъезд по гулким, промерзшим рельсам воинский эшелон... Прошипел мимо Кеши жирный, черный паровоз, которому словно бы жарко было в безумном этом зимнем холоде, и потянул за собой платформы с танками. Они открыто и грозно зеленели защитной краской на розовом морозе, отвернув свои башенные пушки, как ребята кепки козырьком назад перед дракой, и были они так близко от Кеши, так заманчива была их бронированная недоступность, что он, забыв обо всем на свете, остановился с ведром и зачарованно смотрел на их башни, на тяжелые траки гусениц и могучие колеса... Эшелон замедлял движение, и казалось, что он остановится. Но платформы с танками тихо проплыли мимо, за ними надвинулись глухие теплушки с железными, прокопченными трубами, над которыми лохматились дымки. Кеша сквозь обмерзшие ресницы, мешавшие смотреть, провожал эти танки, увиденные впервые так близко, и все еще ждал, когда воинский эшелон остановится наконец. А тот, по-прежнему неторопливо постукивая на стыках, с какой-то торжественной замедленностью прокатил мимо, и солнце, которое то вспыхивало между вагонами, то скрывалось за темными их массами, снова успокоенно и неподвижно повисло над снеговой равниной... А в рельсах утихал натруженный гул колес — все, что осталось от таинственного эшелона, ушедшего на запад.

И почудилось Кеше в эти минуты, что воинский эшелон, проезжая в морозное утро мимо тихих вагонов с детьми, нарочно замедлил свой бег, словно бы приглашал с собой всех желающих, заманивая своей медлительностью... Ему даже стыдно стало, когда он с обостренной ясностью представил себе этот молчаливый зов медлительных платформ с промерзшими танками, и он почувствовал себя так, будто бы его позвали туда, где гремят бои, а он слишком поздно это понял.

— Кеша! — кричала ему Анна Сергеевна. — Ну что ты остолбенел? Давай сюда, живо! Отстанешь от поезда!

И он побрел с пустым ведром к паровозу, испытывая чувство вины перед тем бойцом в тулупе и с винтовкой, который стоял на площадке последнего вагона и который, как показалось Кеше, отвернулся от него в последнее мгновение, запахнувшись огромным воротником.

Ни Анна Сергеевна, ни Кеша, ни начальница интерната — никто из них еще не знал, что там, далеко на западе, под очень далекой теперь Москвой, уже накапливались силы для контрнаступления и что все эти многочисленные эшелоны с танками, пушками и войсками торопились с востока на запад, чтобы в тяжелых ноябрьских боях остановить противника под Москвой, а потом без всякой оперативной паузы нанести ему неожиданный и мощный контрудар и, развивая наступление, отбросить от стен столицы... Никто из них не знал, что победа под Москвой близка и что всего лишь месяц отделял их от этой победы, хотя никто не сомневался в том, что она наступит скоро, особенно ребята.

Они ехали двенадцать суток, отпраздновав 7 Ноября в пути... Все эти двенадцать суток ребят кормили сладкой манной кашей и поили горячей водой, а когда они приехали в зиму и в морозы, в вагонах стало так холодно, что никакая печка и никакой уголек не помогали, и даже хлеб промерзал насквозь, а дощатые стенки вагона заиндевели и покрывались белыми хлопьями инея.

Наконец они приехали на станцию Чернушка. Была середина ноября, но стоял лютый мороз. И опять они целые сутки ждали, пока не стали за ними съезжаться из окрестных деревень санные подводы.

Детей из младшей группы клали в сани, на сенную подстилку и накрывали сверху одеялами, а ребят из старшей разделили на тех, у кого были валенки и теплая одежда, и тех, у кого ничего этого не было.

Гыра, который в дороге не проявлял никаких признаков жизни и все время, казалось, спал на дощатой полке, вжимаясь в тела ребят, оказался среди тех, у кого не было зимней одежды. И его, как маленького, тоже уложили в сани и накрыли одеялом.

Ребята посмеивались над ним, а он лежал, нахлобучив шапку на самые глаза, и смотрел в небо. Кеше даже почудилось однажды, что Гыра плакал, хотя, впрочем, краешек одеяла и шапка — все покрылось инеем, и трудно

было понять, плакал ли он в самом деле или это только показалось Кеше.

Грузились на сани долго и не скоро еще отправились в путь. Кеша подошел к розвальням, где лежал Гыра, и впервые за многие месяцы сказал ему:

— Хочешь, Женька, я отдам тебе ботики? У меня еще ботики есть.

— Да пошел ты! — крикнул ему Гыра с обидой.

— Ну что ты орешь, — примирительно сказал Кеша. — Наденешь их на ботинки — теплее будет. Слышишь?

Гыра молчал.

— Зря ты злишься, — сказал Кеша. — Возьмешь или нет?

— Ладно,— ответил Гыра сумрачно и тихо.— Потом, когда приедем... Они у тебя в вещах?

— В вещах.

Гыра лежал и хлюпал озябшим носом, потирая его варежкой.

— Морозище, — сказал он в отчаянии. — Кешка, — позвал он вдруг незнакомым каким-то голосом.

Кеша даже не понял сначала, что это его Гыра окликнул, назвав по имени, хотя в дороге все ребята уже называли его так.

— Что? — спросил он.

— Спасибо тебе...

— Да чего спасибо! У меня валенки, — ответил Кеша.

— Ты не обижайся на меня, — говорил Гыра, — что я с тобой тогда не остался...

— Ладно. Только, когда приедем, я тебе шелобан отвешу... За все.

И Гыра, усмехнувшись, согласился. У него теперь не было другого выхода, потому что в дороге никто из ребят с ним не разговаривал, и он понимал, конечно, что если Кеша Казарин даст ему один шелобан, то это будет смешно. Он притворится, что ему очень больно, будет тереть лоб и морщиться, а если ребята будут смеяться, то скажет: «Ничего себе бьет Ралиса! Откуда только силы!» Он обязательно так и скажет: «Ралиса». Неизвестно еще, что подумают ребята. Может, они подумают, что ничего не случилось, и все опять по-старому: нет никакого Кеши Казарина, а есть Ралиса и есть он, Гыра, который даже позволил Ралисе ради забавы дать ему шелобан. И еще он подумал, что Кеша, предлагая ему свои ботики, хочет, конечно, подлизаться к нему.

«Ладно, — решил он. — Еще посмотрим. Ботики я возь-

му. Может, ребята тоже подумают, что Ралиса подлизывается...»

Но, думая так, Гыра на этот раз жестоко ошибался. Он даже и представить не мог, что, отказавшись остаться с Кешей там, в овраге, совершил такую ошибку, которую не прощают. И никакой шелобан теперь уже не спасет его от позора. Слишком низко пал он в глазах ребят, для которых начиналась совсем новая жизнь в этом морозном холмистом крае.

Георгий Витальевич Семенов

К ЗИМЕ, МИНУЯ ОСЕНЬ

Повесть

Редактор И. Плахотникова
Художник В. Тё
Художественный редактор Г. Саленков
Технические редакторы Г. Куликова, В. Тушева
Корректоры Г. Голубкова, И. Попова

ИБ № 4817

Сдано в набор 20.12.86. Подписано к печати 25.02.86. Формат 84х108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Усл. печ. л. 5,04. Усл. кр.-отт. 5,25. Уч.-изд. л. 5,54. Тираж 500 000 экз. Заказ 4811. Цена 30 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30


30 коп.